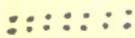
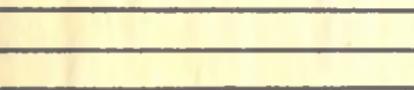
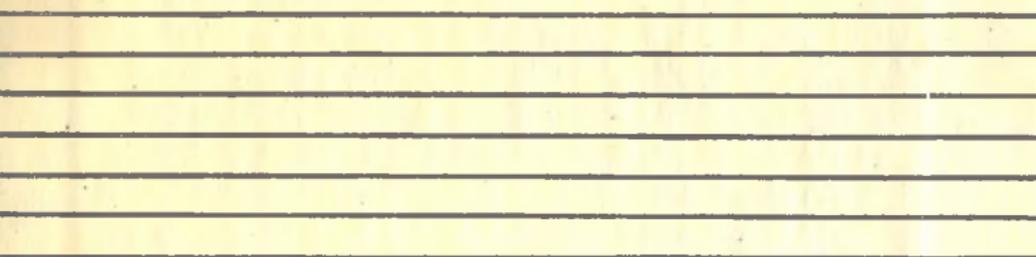
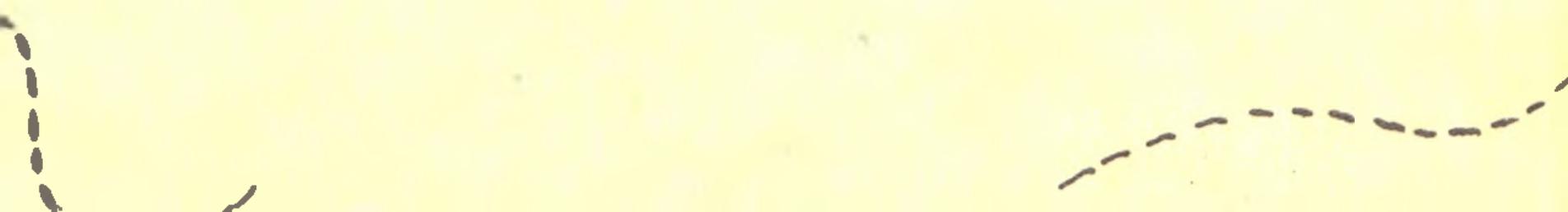
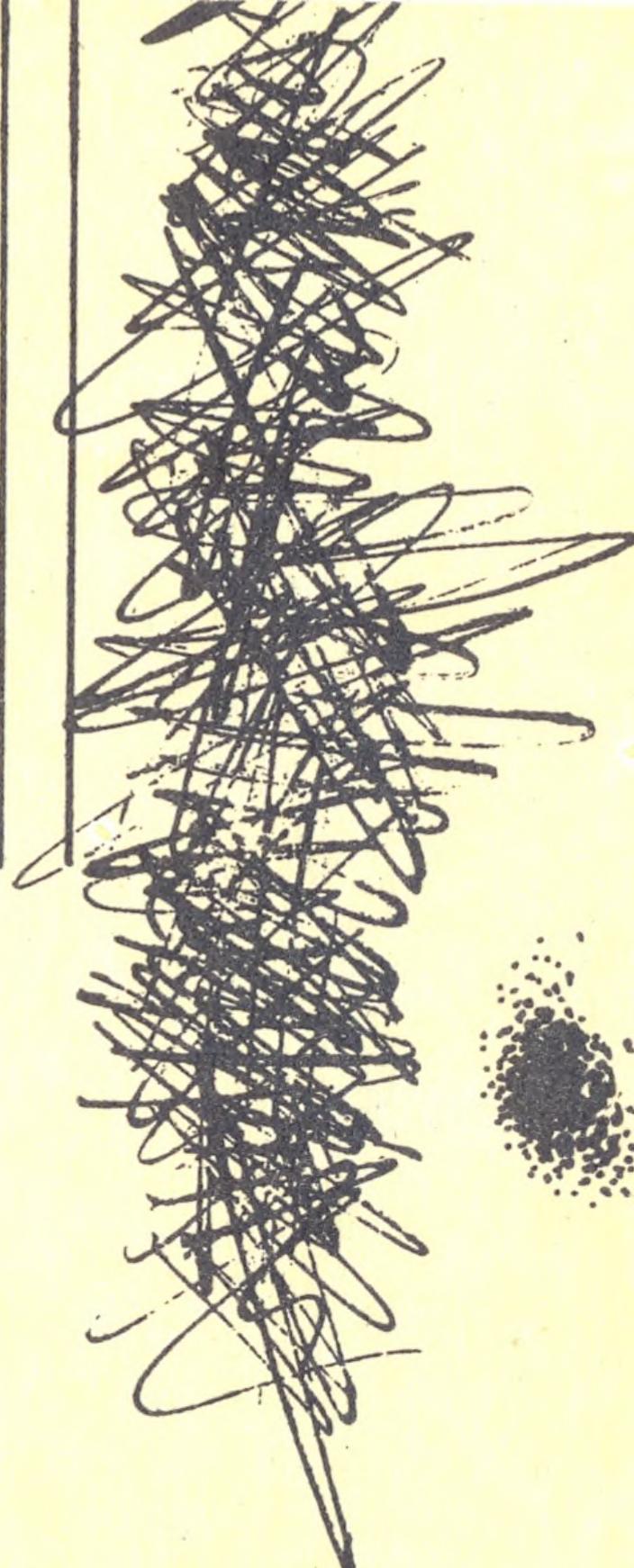
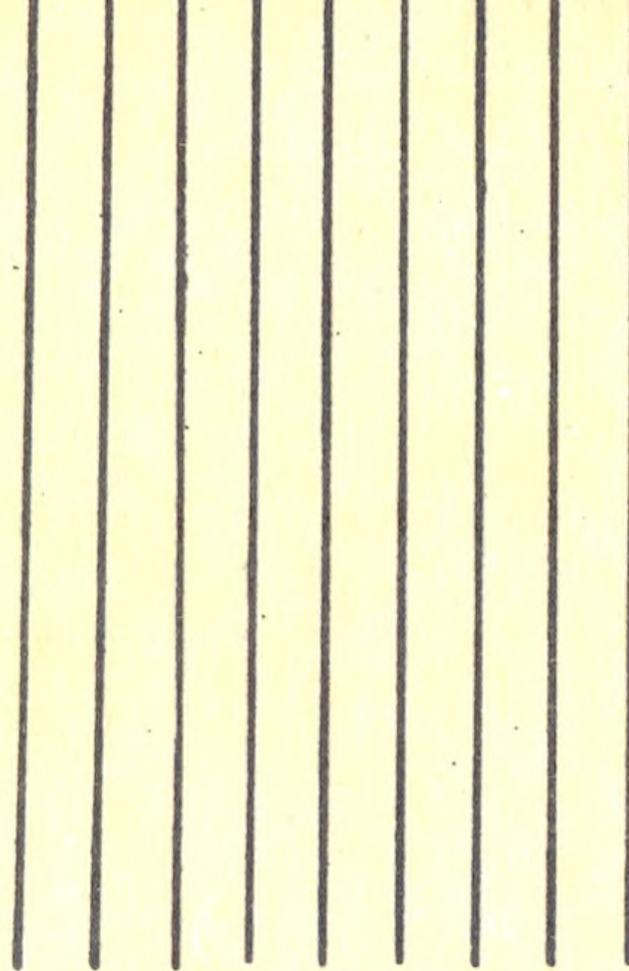


НАТАЛЬЯ
БАХАРЕЦКАЯ

Тезисы
Бенет



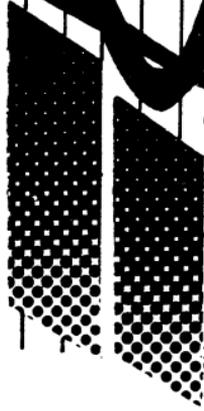




*Санкт-Петербург
Республиканское издательство
детской и юношеской
литературы
«Лицей»
1992*



Генерал



Стихи и поэма
ГРОЗОВЫЙ ВЕНОК

P 2
K 78

Вступительная статья и составление
А. Чернова

Рисунки и оформление
М. Волковой

© Чернов А. Вступительная статья, составление. 1992

© Волкова М. Рисунки и оформление. 1992

ISBN 5—08—000134—8

Утаенный подвиг Натальи Крандиевской

Наталья Крандиевская родилась 21 января 1888 года в Москве. Ее отец Василий Афанасьевич Крандиевский был публицистом и издателем, знавшим литературную Москву от Толстого до Горького. Мать, Анастасия Романовна Тархова, сама была писательницей. Первая женщина, спустившаяся в шахту к углекислотам, она описала свои впечатления в рассказе, тут же переведенном на многие европейские языки. Дом Крандиевских был по-московски широк: народники, марксисты, русские либералы конца прошлого столетия в нем не переводились. С Анастасией Романовной любил беседовать Горький, и литературный быт был частью жизни этого семейства.

Туся Крандиевская начала писать стихи в восемь лет. В тринадцать она уже печатала их в московских журналах, подписываясь сначала Т. Крандиевская, а чуть позже взрослым своим именем Наталья.

Сохранившаяся в семейном архиве тетрадь ее старшего брата Севы являет трогательное свидетельство мира и лада семьи: Туся пишет и публикует, Сева — гимназист старших классов — аккуратно вырезает и подклеивает, а если вырезать нельзя — переписывает от руки, ставя внизу сноску, где напечатано стихотворение любимой сестренки. Страшным испытанием станет для нее скоропостижная смерть брата. Его, талантливого живописца и, как помнят в роду Толстых, большого умницу, болезнь унесет в несколько дней накануне самой его свадьбы. Памяти брата Крандиевская посвятит первую книгу своей лирики. Она будет называться «Стихотворения» и выйдет в Москве, в издательстве К. Ф. Некрасова в 1913 году, лишь на год позже ахматовского «Вечера», на три позже цветаевского «Вечернего альбома».

Книжку заметили, хотя шумного успеха все же не было. Рецензенты отмечали ум и одаренность молодого стихотворца, а также обложку, нарисованную М. Добужинским.

Фотографии тех лет. Молодая, очень красивая москвичка с печальным, чуть нервным лицом. Но в самой нервности — здоровье и ровность натуры, лишь в глазах затаенное несчастье. Муж — преуспевающий адвокат Федор Акимович Волькенштейн, приятель Александра Федоровича Керенского. Порядочный и чужой человек, за которого красавицу Наталью выдали чуть ли не с гимназической скамьи. (Занятая собой и своими стихами, Наталья училась весьма небрежно и гимназию, кажется, даже не закончила.) Сын Фефа — Федор Федорович — умный и серьезный мальчик.

Поэтическая жизнь Крандиевской, начавшаяся с «языческой свирели», вольнолюбия и влюбленности в пятнадцатилетнюю поэтессу сразу двух классиков — Бунина и Бальмонта, впервые придушена.

Развод неизбежен, и появление талантливого беллетриста Алексея Толстого ставит точку. Разведенная жена становится графиней Толстой. Правда, не сразу — надо было еще оформить развод, что в романовской империи дело долгое и хлопотное.

Но вернемся к «Севиной тетради», к ранним, отроческим стихам Крандиевской. Она открывается стихами, не попавшими в первую книжку. Меж тем почти наверняка стихотворение «Сумерки» оставило след в сердце еще одного московского гимназиста:

Тает долгий зимний день...
Все слилось во мгле туманной,
Всеобъемлющей и странной...
В доме сумерки и тень.

О, мечтательный покой
Зимних сумерек безбрежных,
И ласкающих, и нежных,
Полных прелести немой!..

В старом доме тишина,
Все полно дремотной лени...

Оборвем цитирование. Стихи напечатаны в журнале «Образование» в июле 1904 года. (Дата написания отсутствует.) Невозможно не вспомнить пастернаковское: «Снег идет. Снег идет. К белым звездочкам в буране...»

Случайное совпадение интонации, темы, а главное — того, что можно, кажется, назвать рисунком дыхания?

По наблюдению филолога и поэта Елены Дьяковой, четырнадцатилетний Борис Пастернак должен был прочитать это сти-

хотворение, ведь оно опубликовано рядом с эссе Станислава Шибышевского «Шопен». В набросках автобиографии Пастернак писал, что в третьем-четвертом классах гимназии он увлекался Андреем Белым, Гамсуном и Шибышевским. Этюд любимого писателя о любимом композиторе он пропустить не мог. А заодно, видимо, и стихотворение шестнадцатилетней гимназистки, поданное редакцией на отдельной странице — торжественно и броско.

Крандиевская оказалась вне поэтических направлений, вне групп и компаний молодых поэтов, хотя и печаталась, и выступала на поэтических вечерах. Эстетика определяла литературное одиночество. Так было с Буниным. Так было с Тютчевым, самым любимым поэтом Крандиевской.

«Литературный путь Наталии Васильевны интересен и сложен. Она начала свою поэтическую работу очень рано и очень счастливо... Я помню, как она выступала на петербургских литературных вечерах. Ее стихи волновали и трогали слушателей, а среди этих слушателей были Блок и Сологуб, и другие поэты — замечательные мастера и требовательные критики» — это из неопубликованной речи Самуила Маршака, произнесенной им 12 ноября 1943 года в московском клубе писателей на творческом вечере Натальи Крандиевской-Толстой. (Маршак и Федин, когда ленинградская блокада будет прорвана, вспомнят о поэтессе и пришлют ей в осажденный город вызов. Впрочем, это будет, кажется, единственный прижизненный авторский вечер поэта при советской власти.)

...С Блоком ночной разговор
Будем мы длить до зари...

Это из стихов Крандиевской, датированных 1940 годом. Неизвестный нам разговор с Александром Блоком упомянут в стихах довольно мрачных. Впрочем, это относится лишь к теме: звучание — почти счастливое! — настолько ей не соответствует, что сначала даже не понять, о пороге каких «неотвратимых свиданий» говорится. И только перечитав, понимаешь, что автор ждет ареста:

Лифт, поднимаясь, гудит.
Хлопнула дверь — не ко мне.
Слушаю долго гудки
Мимо летящих машин.

У нее было о чем говорить с Блоком. Октябрем семнадцатого года в той же «Севиной тетради» помечено стихотворение «Про-

ходят мимо неприявшие...». Пожалуй, это первый поэтический отклик на большевистский переворот, после которого Крандиевская с Толстым сначала уедут в Москву, а потом на юг, в Одессу.

В одесском издательстве «Омфалос» в 1919 году выйдут «Стихотворения Натальи Крандиевской. Книга вторая». Первый раздел называется «Свет уединенный». По сути это и есть название книги, ибо два других раздела безымянны. Здесь Крандиевская сама уже следует традиции названий первых книг Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Вряд ли кто заметил это. России было не до стихов. Одессе — тем более: скоро началось наступление красных и поспешная посадка на пароходы. Среди беженцев оказались и Крандиевская с Толстым.

В издательском предисловии к «Дороге» (Москва, Художественная литература, 1985) неточно указано, что выйдя замуж за Толстого в 1914 году, поэтесса «вскоре почти перестала писать, если не считать стихов для либретто оперы „Декабристы“».

В берлинском издательстве «Геликон» в 1922 году издана ее третья, лучшая и последняя при жизни книга стихов с весьма эпатажным на первый взгляд названием «От лукавого». В том же году стихи надолго обрываются.

Тринадцать лет немоты, если действительно не считать книжки для детей «Звериная почта» (Ленинград, 1925), стихов к опере Юрия Шапорина, царственно подаренных ею другому поэту (Берите, берите, это такая мелочь!), и, видимо, некоторых стихов к «Золотому ключику», тоже подаренных.

Бунин, вспоминая о возвращении любимой и единственной своей ученицы в Россию, был уверен, что это Наталья Васильевна увезла Толстого к большевикам. Впрочем, не потому, что она «приняла революцию» или симпатизировала новым правителям новейшей Российской империи. Просто оба — и Крандиевская, и тогдашний Толстой — считали, что пора домой. У нее были свои резоны, у него, видимо, свои. Но пока их пути не разошлись, а любовь и, казалось, духовная близость принуждали держаться друг за друга.

Летом 1923 года старенький пароход «Шлезия» доставил их и трех детей в Петроград. Толстого новая власть обладала. Он был нужен власти и народу. Крандиевская — только Толстому и трем ее сыновьям.

Почему она замолчала? В чем причина тринадцатилетней немоты?

Стихи оставлены еще в Берлине. Забот хватало и с подрастающим Фефой, и со средним — Никитой, а тут родился и Дмитрий... «Творческая моя жизнь была придушена. Все силы были отданы семье и работе с мужем. Я была его секретарем, советчиком, кри-

тиком, часто просто переписчиком. Я вела иностранную корреспонденцию с издателями, подбирала нужные материалы к «Петру», правила корректуры, заполняла декларации фининспектору...» — так она сама объяснит в официальной автобиографии, написанной, видимо, для оформления каких-то бумаг в Литфонде.

Точней и резче звучит поэтическое объяснение, данное героиней ее поэмы «Дорога в Моэлан»: «К столу избранных меня не просят. Ну что ж, сама отсюда убегу...»

Толстой морщился, когда о нем говорили: «Мастер!» Мол, какой я мастер — вот Туся... Но поэт не может жить в безвоздушном пространстве. Три прижизненных книжки выходили как бы невпопад. Первая — после Цветаевой и Ахматовой, вторая — в провинции, да еще накануне ее поглощения Советами, третья — перед самым возвращением из Германии. «Шапка-невидимка», так чудесно примеренная ею в юности, словно на десятилетия должна была прирасти к голове этого русского поэта.

Если поэт одинок по определению, то поэт, идущий наперекор собственной славе, — вдвойне.

Для тех, кто выжил в Советской России, Наталья Крандиевская-Толстая была прежде всего женой своего мужа, преуспевающей и сытой барынькой из Детского Села. То, что происходило в душе, разумеется, — не в счет. Потому что этого никто не видел.

Алексей Толстой мог удовлетворенно заметить за чаем, что он обставил самого Льва Толстого: тот из двух женщин (Софьи Андреевны и ее сестры Татьяны) слепил одну Наташу Ростову, а Алексей Николаевич из одной Натальи Васильевны — двух: Катю и Дашу из «Хождения по мукам»...

Но, пожалуй, не двух — даже трех, если считать голубоволосую Мальвину из того же «Золотого ключика». Это влюбленный поэт Пьеро может вздыхать о том, что Мальвина убежала от него. (Вздыхать, видимо, стихами самой Натальи Васильевны.) Деревянный человечек Буратино уже задумал свой, собственный побег.

В августе 1935 года Толстой оставит семью.

Если верить авторской дате на карандашном автографе, стихи вернулись к ней еще в начале лета. После долгих самоуговоров жить мужней женой и вписаться в круг новой советской аристократии, после всех миног и корректур «Петра» (об этом смотри в воспоминаниях поэта), после самовнушений о том, что стихи «от лукавого», оказалось, что душа лишь обмерла: антиквариат дома и автомобильные катания не затронули сути.

Фотографии из семейного архива бесстрастны: первые годы жизни с Толстым, наполненные и стихами, и счастьем, запечатлены на московском фото 1915 года. Но, Господи, как изменилась

эта женщина всего через шесть лет! Домашние, конечно, не замечают этого, но жизнь с «первым советским графом» ей дорого обошлась. В конце 20-х в глазах и в облике — пожилая усталость, материализованное в чертах новое несчастье.

Строки из дневника приоткрывают тайну:

«Зима 1929. Пути наши так давно слиты воедино, почему же все чаще мне кажется, что они только параллельны? Каждый шагает сам по себе. Я очень страдаю от этого. Ему чуждо многое, что свойственно мне органически. Ему враждебно всякое погружение в себя. Он этого боится, как черт ладана. Мне же необходимо время от времени остановиться в адовом кружении жизни, оглядеться вокруг, погрузиться в тишину. Я тишину люблю, я в ней расцветаю. Он же говорит: «Тишины боюсь. Тишина — как смерть».

Порой удивляюсь, как же и чем мы так прочно зацепились друг за друга, мы — такие противоположные люди?

...Вчера Алеша прочел эту страницу из моего дневника и ответил мне большим письмом, а в добавление к нему сказал сегодня утром: «Кстати, о тишине. Ты знаешь, какой эпиграф я хочу взять для нового романа? Воистину, в буре — бог. Тебе нравится?» — «Замечательный эпиграф», — ответила я и подумала — да, бог в буре, но в суете нет бога».

Ей не нравится суета, не нравится Ягода, дружбу с которым крутит муж.

Но самое главное проговорено мимоходом: адово кружение жизни. Оказалось, что «от лукавого» вовсе не стихи, а самонасилие благополучия, в жертву которому стихи и были принесены еще в 1922-м, в Германии.

Алексей Толстой однажды взял пасынка Фефу к Горькому. Все сидели за столом, когда вошел человек и приказал большей части гостей удалиться. Те покорно повиновались, бросив недоedенное. Толстой был оставлен.

Через несколько минут явился вождь. Разумеется, при ближайших соратниках. Обед продолжился.

Заговорили о литературе, и Сталин заметил, что тут он от современности отстал. (Немудрено — шла коллективизация!) Тогда Фефа и предложил тост «За товарища Отсталина!».

В минутной паузе, когда гости прощались с жизнью, а великий пролетарский писатель вдруг увлекся рассматриванием обedенного прибора, повисла беда.

Вождь, человек восточный, а потому знавший твердую цену шалостям с именем деспота, сам растерялся. Наконец, обращаясь к Алексею Толстому, изронил: «А он у вас хитрый мюжик!» и увлек юного каламбурщика к патефону, ставить пластинки. При

этом Фефе нравились одни, а вождю другие, и пластинки пришлось выбирать через раз.

У этого анекдота, впрочем подтвержденного самим Федором Федоровичем, есть любопытное продолжение: уже в машине Фефа поинтересовался у отчима: как тому понравилась его шутка? Толстой, как утверждает в неопубликованных воспоминаниях Федор Федорович, по-отечески доходчиво объяснил юнцу все, что он о нем думает.

Видимо, уход Толстого из семьи — лучшее, что бывший граф мог для семьи сделать. «Новые веяния», во власти которых он, как утверждает Наталья Васильевна, оказался к середине тридцатых, должны были толкнуть его к такому шагу хотя бы из инстинкта самосохранения. Для него уже не было «Туси-мастера», не было жены как эталона красоты и вкуса, не существовали и ее, когда-то любимые им стихи. «Крандиевщина!» — мог бросить он ей в лицо. Мол, тебе не нравится, а в Москве нравится, и шестидесяти миллионам читателей нравится тоже.

Шестьдесят миллионов и — на первом месте! — читатели из Москвы, конечно, перевешивали. В этой ситуации остаться в семье значило погубить всех. Кстати, заметим, что принадлежащий Толстому термин «крандиевщина», пусть и произнесенный в семейном кругу, на десятилетие опережает ждановский термин «ахматовщина». И тут есть почти прямая связь: блокадная книга стихов Крандиевской «Дорога», подготовленная и уже набранная, будет рассыпана после доклада Жданова об Ахматовой.

Близости у Натальи Васильевны и Анны Андреевны никогда не было, личные отношения не обходились без шпилек, а вот советская власть ту и другую оценила по достоинству и связала одним декретом, одной политической кампанией. Иное дело, что Крандиевскую спасла ее «шапка-невидимка»: книжка просто не поспела к докладу идеологического палача. От нее сохранился лишь оригинал обложки.

Вновь слава, пусть и страшная, обойдет Крандиевскую. Такова прижизненная доля этого поэта — оставаться в тени. В тени Толстого, в тени семьи, в тени Ахматовой и Цветаевой.

Этим заплатила она за трех поставленных на ноги сыновей, за собственную позицию частного лица в жизни и в литературе, за сохраненную самоиронию и даже юмор в самых страшных, нечеловеческих ситуациях ленинградской блокады, за отсутствие и намек на классическое образование, высокомерие позы или прилюдные раскаяния. Она до конца, до слепоты и последней больницы оставалась живым, чутким к живому и неопаленным ничем иным, кроме огня поэзии, человеком.

Осенью сорок первого, когда питерские трамваи еще ходили,

некий гражданин на остановке осадит бабу в ватнике: «Куда прешь, колхоз!» Баба не обидится, а рассмеется. Да так весело, что гражданин отпрянет, как от сумасшедшей. А через двадцать два года ее, смертельно больную и беспомощную, сын устроит в лучшую в городе больницу. И шепнет, когда санитары уже поднимут носилки, что ей там будет хорошо, что больница эта для старых большевиков.

И она рассмеется, как тогда, на остановке.

И «колхоз», и «старые большевики» для нее, бывшей до октября семнадцатого «ваш-сятельство», казалось очень смешным. Даже на смертном одре.

Ее смех, видимо, вообще был столь же особенным, как и ее стихи. Домашние — во всяком случае сыновья — вспоминают с наибольшей болью и ностальгией именно этот смех. Кажется, и спустя три десятилетия острее всего им не хватает ее смеха.

После Пушкина это качество лирики в русской поэзии почти не встречается. А если встречается, то лирика, как правило, оказывается убитой. (Исключение, может быть, — лишь улыбка Давида Самойлова, но и она того же, пушкинского, происхождения.) Смех Натальи Крандиевской возникает в самых неожиданных, самых непредставимых и непригодных для него местах. И прежде всего — в блокадной лирике. Ключ к нему — записанный Крандиевской на ночном дежурстве в 1942 году рассказ связистки Водoleyкиной. Приведу его целиком:

«Ну никакого доверия к людям, Наталья Васильевна. Намедни прихожу с дежурства. Есть хочу, как собака. Времянку разожгла, поставила ремню вариться. Жирный такой ремень, ну чересчур наварный.

А жиличка так коло ремню и вертится. И чего вертится? Чего беспокоится?

Только я на чуток с кухни вышла, — гляжу в кастрюлю, так и есть! Полремню нет! Ну надо ж! Вот какой народ пошел, Наталья Васильевна. Ни стыда, ни совести. А ремню до чего жалко. Теперь такого и за деньги не достанешь. Чемоданный, говорили, заграничный».

Из простонародного поэт творит народное:

О том, что заросли картошками
На поле Марсовом зенитки
И под дождями и бомбежками
И те и эти не в убытке.

Ее муза и впрямь не шагает в ногу. Сказочная, своевольная дурочка, со свирелью идущая на похороны и плачущая на свадь-

бе, она населяет стихи тем, что современники просто отказываются видеть. Так и должно быть устроено зрение поэта: наперекор событию, а если надо — и бытию. Где-то здесь истоки и пророческого дара, которым так щедро наделен этот поэт.

«Грибное лето. Быть войне» — концовка стихов, датированных августом 1940-го.

«Дано мне будет прикоснуться губами к ледяному лбу» — это за несколько месяцев до смерти Алексея Толстого.

А вот о посмертном будущем, и о своей роли в нем: «Лечу туда, лечу, как семья бури, плодотворить грядущего лазури».

Чтобы так писать, надо слишком хорошо знать цену своему стиху. Неужели на сей раз ошиблась?

Самомнение в обычном понимании этого слова не было свойственно ей: в венке сонетов Крандиевская скорее проговаривается, чем декларирует. То, что не удалось затмить шапкой-невидимкой, заслонялось маской обыденности, а в опасном для разоблачения случае — смехом. Причастность к высокой трагедии, к «Грозовому венку» из века и вечности реализовалась в черновой работе души. Вот дневниковая запись, обнаруженная в семейном архиве Д. А. Толстого:

«24 марта 1939 г., Заречье.

Ночью думала: если поэты — люди с катастрофическими судьбами, то по образу и подобию этой неблагоприятной породы людей не зарождена ли я? По-житейски это называется: все не как у людей. Я никогда не знала, хорошо ли это или плохо, если не как у людей? Но внутренние законы, по которым я жила и поступала всегда, утрудняли, а не облегчали мой путь. Ну что же! Не грех и потрудиться на этой земле».

И вскоре:

«Вечер 3 мая 1939 г., Заречье.

Осуществление идей часто бывает их искажением. Происходит это по вине осуществителей. Грубость и нечистоплотность человеческих рук уродует самые прекрасные вещи. Недостаточно утвердить идею в сознании. Чтобы воплотить ее в жизни, не изуродовав, надо, чтобы она вошла в плоть и кровь носителя и воплотившего ее, стала первопричиной его поступков и двигателем.

Почему идеи христианства вели человечество в течение многих столетий? Потому, что идеи любви претворены были в жизнь Христом, и Его крестная смерть стала для людей жизненным символом жертвенной любви. Если бы Христос только проповедовал, не утвердив учения крестными своими муками, — разве идеи христианства были бы так понятны и дороги людям?»

Жесткое понимание происходящего и возможность назвать вещи своими именами. Дневниковость, лирическая потаенность

стихов позволяли избежать почти обязательного для печатающегося при тоталитарном режиме стихотворца расслоения стихов на тайные (для себя и потомства), просто лирические и «не свои» стихи (те, что написаны по принуждению властей, по «социальному заказу»). Крандиевской не надо было убеждать современников в собственной гражданской лояльности, красный флаг она могла и в блокаду назвать «новым флагом», ибо не отинула, не забыла старого порядка вещей. Если она приняла революцию, то приняла как крест. И даже не попыталась реформировать систему нравственных оценок и ценностей.

Это позволяет поэту глядеть на происходящее из вечности: даже в худлитовском томике 1985 года издатели не решились напечатать в неискаженном виде строк памяти Марины Цветаевой:

И все та же российская сжала петля
Сладкозвучной поэзии горло.

Пишется это, когда враг подходит к Ленинграду, когда сам поэт готовится разделить участь защитников города и становится одним из этих защитников. Крандиевская не поддается на соблазн казенного, сталинского разлива патриотизма. Ее патриотизм народен, он не большевизирован, он — личное сопротивление.

Блокадный город, из которого она не уехала, потому что не простила себе и не могла повторить крах собственного бегства из прифронтового города (Одесса, 1919), становится не только голодной мукой, но и степенью свободы.

Никто из поэтов о том не написал:

У печки разговор,
Возвышенный, конечно,
О том, что время — вор,
И все недолговечно.

О том, что неспроста
Разгневали судьбу мы,
Что родина свята,
А все мы — вольнодумы...

Здесь названа вещь столь же удивительная, сколь и закономерная. Если «трудно хоронить, а умереть не трудно» (мысль, не однажды звучащая в книге блокадных стихов Крандиевской), то человек перестает бояться смерти или ареста. Еще в 1940 году она нашла эту систему защиты. В семейном архиве хранится фото, сделанное из окна ее квартиры на Кронверкской улице: к дому

подъезжает воронок. (Снимал, видимо, тот же отчаянный старший сын.) Если до войны арест был бы для нее приближением неотвратимых свиданий, а смерть под пыткой или в лагере возможностью продолжить ночной разговор с Блоком, то теперь, в дни блокады, с тысячами ленинградцев произошла та же атрофия страха, его преодоление перед ликом смерти.

Выживших и разогнувшихся Системе вновь пришлось гнуть и заражать страхом. Но это будет лишь в августе 1946-го.

Книга Крандиевской «В осаде» — прежде всего книга о бесстрашии. Но не в газетном или плакатном смысле, а о бесстрашии души, о ее освобождении. Это главная тема лирики Крандиевской, начиная еще с 1910-х годов. Но к личному прибавилось народное, и личное стало народным.

Напророченные в предвоенном дневнике собственные «крестные муки» позволили Крандиевской, может быть, единственному тогдашнему русскому поэту, в простоте великой книги великого города говорить за всех, не напрягая голосовых связок:

Если на труп у дверей
Лестницы черной моей
Я в темноте спотыкаюсь, —
Где же тут страх, посуды?
Руки сложить на груди
К мертвому я наклоняюсь.

Спросишь: откуда такой
Каменно-твердый покой?
Что же нас так закалило?
Знаю. Об этом молчу.
Встали плечом мы к плечу —
Вот он покой наш и сила.

Она умирала, получая 125 блокадных грамм своей пайки, но не позволила ни себе, ни младшему сыну вынуть из помойного ведра, стоящего за приоткрытой дверью в квартиру предисполкома, засохшую французскую булку: «Будем гордыми».

И спасла ее подруга, которую Господь надоумил со стаканом выданного по случаю киселя идти к ней через весь заледенелый город.

«Утешусь гордою мечтою за этот город умирать».

Это не горьковская гордость за ницшеанского человека с большой буквы, не ветхозаветная гордыня — всего лишь подвиг смирения и покорность высшей воле Творца, объясненный на понятном современникам языке.

Блокадный город в осадной книге Крандиевской не имеет ни аналогов, ни соответствий в тогдашней, да и последующей поэзии. Свободная от директив «соцзаказа», Крандиевская пишет о небывалом, то есть о самом простом, не укладываемом ни в какие рамки предшествующей поэзии. Но отточенная до действительно неслыханной и немислимой простоты форма делает эти стихи столь естественными, что известный парадокс пушкинской легкости мешает осознать новизну. Случай редчайший в лирике. Это случай той степени гармонизации хаоса, когда читатель может оказаться просто неготовым к восприятию новизны интонации, приняв золото классической пробы за медно-никелевый сплав разменной монеты.

Пушкин, ссылаясь на Дельвига, повторял: чем далее к небу, тем холодней. Космическая, астральная и посмертная тема Крандиевской так наполнена двадцатым, если не сказать двадцать первым, веком, что возникает небывалый синтез средневекового византийца Паламы с Эйнштейном, а еще с Тютчевым и чем-то своим: она живет не просто в разомкнутой вселенной, она живет в мире, где первотолчок начала мира одушевлен, связан с собственным рождением. Через музыку, через сон, через реалии двадцатого столетия она находила одушевленную, одухотворенную смыслом явь видимой и невидимой вселенной:

Начало жизни было — звук.
Спираль во мгле гудела, пела,
Торжественный сужая круг,
Пока ядро не затвердело.

И все оцепенело вдруг.
Но в жилах недр, в глубинах тела
Звук воплотился в сердца стук,
И в пульс, и в ритм вселенной целой.

И стала сердцевиной твердь,
Цветущей, грубой плотью звука,
И стала музыка поруккой
Того, что мы вернемся в смерть.

Что нас умчат спирали звенья
Обратно в звук, в развоплощенье.

Этот сонет, посвященный памяти Скрябина, писался без малого полвека: восемь строк в 1916 году (первая и третья строфы), остальное — в 1955-м. Но о том же и в других стихах 1910-х годов:

И вот по воздуху, по синему —
Спираль, развернутая в линию,

Я льюсь, я ширюсь, я звеню
Навстречу гулкому огню.
Меня качают звоны, гуды,
И музыки громовой груды
Встречают радостной грозой
Новорожденный голос мой.

Так никто еще не говорил о собственной смерти. Средневековое, древнее и новейшее научное оказались соединены женщиной, не только не окончившей гимназии, но, как утверждает ее сын Никита Алексеевич, до конца дней не научившейся определять время по циферблату часов. Говоря словами Пастернака, вот уж действительно заложник вечности в плену у времени...

Да, Скрябин и Рерих в те же годы чувствовали и пытались понять те же закономерности мироздания, а Эйнштейн и Фридман* описать математическую, физическую природу этих закономерностей. Но только Крандиевская словом поэта сумела одушевить открывающуюся людям рубежа столетий космогонию и тем защититься от ужаса «грядущих катастроф» и итога «урановых открытий». Лишь постигнув такой масштаб боли и связи, она могла пережить частную катастрофу России, войну и блокаду.

Истинного знания о природе вещей поэт все не выдает. Происходит то же, что с формой, с рифмой в ее стихах. Представим, как поэт-конструктивист использует рифмы, вроде «лезет в очередь — дочери», «слава Господу — скоро с ног спадут». Но, зная цену атомного распада и радиации словесной формулы, она преодолевает его синтезом, то есть более высоким даже с физической точки зрения уровнем энергии. Чтобы удержать критическую массу стихового вещества, Крандиевская обращается к «классической» защите неинверсированного русского стиха:

Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей, вот тоже, дочери
Схоронен вчерась.

* Фридман Александр Александрович (1888—1925) — геофизик и математик, один из создателей современной теории турбулентности и динамической метеорологии. Математически показал, что наша Вселенная расширяется.

Бог прибрал и слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду
С этих со ста грамм».

Вот она, речь улицы, речь, а не конструктивистский ее перевод на советский «навояз».

Труден путь, далек до кладбища,
Как с могилой быть?
Довезти сама смогла б еще, —
Сможет ли зарыть?

Мы и в этой строфе не замечаем рифмы. Зато в следующей строфе рифма бьет по нервным окончаниям:

А не сможет — сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.

Отсутствие приема оказывается сильнее его трехкратного наличия. За наготой фонетической («братскую — ленинградскую») — нагота и голод, подвиг и труд. Для Крандиевской Питер — «град Петра», а не Ленина. Но за танком с винтовкой идет в стихах ленинградка, а не петербуржанка, и, сохраняя свое, сокровенное, народный поэт живет вровень с согражданами. Только в минуты одиночества и прорывается:

Но ты, бессонница моя,
Без содрогания и риска
Глядишь в огонь небытия,
Подстерегающий так близко.

Завороженная, глядишь
На запад, в зарево Кронштадта,
На тени куполов и крыш...
Какая глушь! Какая тишь!
Да был ли город здесь когда-то?

И еще:

О том, что в амбразурах Зимнего
Дворца пустого — свиты гнезда
И только ласточкам одним в него
Влетать не страшно и не поздно,

И что легендами и травами
Зарос, как брошенная лира,
Мой город, осиянный славами,
Непобежденная Пальмира!

Что же в конечном счете позволило ей не только выжить, но и стать первым (хотя и тайным) поэтом осажденного города? В 1943 году она напишет стихи, которые даже не будет пытаться включить в сборник. Нет их и в трех дошедших до наших дней машинописных тетрадях. Только листок с беловиком:

Свидание наедине
Назначил и мне командор.
Он в полночь стучится ко мне
И входит, и смотрит в упор.
Но странный на сердце покой.
Три пальца сложила я в горсть.
Разжать их железной рукой
Попробуй, мой Каменный Гость.

Здесь, кроме смутной полемики с Ахматовой (не потому ли, что пушкинскую героиню зовут Донной Анной?), ответ на вопрос о религиозности этого поэта. Глубоко внутреннее, интимное чувство, которое не афишируется, о котором не знают даже сыновья. Так, написав в 1950-х четыре строки о человеке, прошедшем в двух шагах от сердца, на недоуменный вопрос младшего сына: «О ком это?» — она ответила: «Я знаю, и этого хватит».

Табуирование — закон настоящих стихов. Без очерченной грани того, что не называется, нет ни преодоления, ни работы души.

Это может относиться даже к пустяку, к той же рифме:

Есть к стихам в голове привычка,
А рифмы всегда со мной,
Вот и эту напела итичка
Ныне в Кавголове, под сосной.

Если читать глазами, никогда не догадаешься, что это за рифма, а она тут, на виду: «к стихам в голове — в Кавголове».

Этому она училась еще в пятнадцать лет. В тех же «Сумерках» не сразу заметишь панторифму*, тоже разделенную двумя строками: «чуть доносится ко мне — тцетно мечется во мгле».

* Стихотворные строки, рифмующиеся целиком.

Она была мастером еще в детстве. Только мастер может в пятнадцать переписывать стихи до такого неузнавания, что получаются два разных стихотворения. Только мастер может полвека писать один сонет или более тридцати лет небольшую поэму о небывшем романе на берегу океана. Но не мастерство стиха, а мастерство человеческого делает этого поэта равным самой себе.

Потаенный подвиг Натальи Крандиевской. Вот чем обернулась ее «шапка-невидимка». Как и положено в строгом каноне православия, подвиг должен быть утаен от посторонних глаз. И награда за него при жизни не обещается.

Пережив и оплавав Алексея Толстого, которого она все равно продолжала любить до смерти, написав поразительную по откровению книгу стихов о старости, зная свой путь и неся свой крест, зная цель бытия, но более полувека задавая одни и те же вопросы себе и Творцу, она умерла в литературной неизвестности 17 сентября 1963 года.

Да, ее стихи ценили Чуковский и Слуцкий, но никто из современников не мог даже предположить, «каким поэтом мы пренебрегли». Для этого надо было как минимум разобрать архив.

Впервые открыв несовершенную и неполную книгу, изданную в 1985-м, я был поражен обещанием такого счастья от встречи с чудом, что и сам не смог удержаться, чтобы зарифмовать:

Листая старого поэта,
Зевнуть, рассеяться и вдруг
Отпрянуть, заслонясь от света,
И книгу выпустить из рук.
...Стыдись! Но, взявши себя в руки,
Опять смутиться и опять
В петит закованные звуки
Сердечным зреньем разбирать.
Да что же это в самом деле?
И как такое может быть...
Да как же это мы посмели
Не услышать. Не полюбить.

Похоронена Наталья Крандиевская в Петербурге, на Серафимовском кладбище.

Андрей ЧЕРНОВ

* * *

Памяти Скрябина

Начало жизни было — звук,
Спираль во мгле гудела, пела,
Торжественный сужая круг,
Пока ядро не затвердело.

И все оцепенело вдруг.
Но в жилах недр, в глубинах тела
Звук воплотился в сердца стук,
И в пульс, и в ритм вселенной целой.

И стала сердцевиной твердь,
Цветущей, грубой плотью звука.
И стала музыка порукой
Того, что мы вернемся в смерть.

Что нас умчат спирали звенья
Обратно в звук, в развоплощенье.

1916—1955



Наталья Челидзева. Чужие города. Из серии «Сорок лет».





ВЕНОК СОНЕТОВ

КЛЮЧ

Рожденная на стыке двух веков,
Крещенная в предгрозовой купели,
Лечу стрелою, пущенною к цели,
Над заревом пожаров и костров.

За мною мир в развалинах суров.
За мной кружат, вздымая прах, метели,
И новый век встает из колыбели,
Из пепелища истин и основ.

Еще не убран в ризы, не украшен,
Младенчески-невинен и жесток,
И дик, и наг, и наготою страшен,
Он расправляет крылья на восток.

Лечу за ним, лечу, как семя бури,
Плодотворить грядущего лазури.

I

Рожденная на стыке двух веков,
Обряды старины я чтю свято,
Не тяготили плеч моих когда-то
Грехи и суеверия отцов.

И благолепен был, и был мне нов
Мир без теней, раскрашенный богато.
Бог Саваоф, бог — пастырь бородатый
Пас дни мои у светлых берегов.

Его бичом был пламень преисподней.
Его наградой — райская трава.
Но все же перст карающий, господний
Не уберег. И лет восьми, едва

Языческой коснулась я свирели,
Крещенная в предгрозовой купели.

II

Крещенная в предгрозовой купели,
Лады перебираю наугад.
Птенец слепой — высвистываю трели,
С гармонией порой еще вразлад.

Но тайной брагой творческих веселий
Уже меня бессонницы поят,
Уже качают с первой рифмой в лад
Меня хорая строгие качели.

Еще дитя — я детства не люблю.
Так, сил цветенья чувствуя приливы,
Полураскрыт бутон нетерпеливый,
Так юности расцвет я тороплю.

Из детства парниковых подземелий
Лечу стрелою, пущенною к цели!

III

Лечу стрелою, пущенною к цели.
Встречает мир, как птицу — океан,
И, бурями и солнцем осиян,
Громокипит соленопенным хмелем.

И первый искус был тогда мне дан,
Закал огнем был дан моей свирели.
Как в Дантов круг мы с песнею влетели,
Не ощутив ожога первых ран.

И в хоровод теней живые руки
Вплетала я. Они ловили тень.
О, кто на дыбе первой этой муки
Не звал тебя, самоубийства день,

Тобой не бредил, гений катастроф,
Над заревом пожаров и костров?

IV

Над заревом пожаров и костров
Уже двадцатый век ковал доспехи,
И под знамена собирал бойцов,
Грядущих битв определяя вехи.

Свирель моя, кому твои утехи?
Бесплотные волнения стихов?
Всю эту горетку лунных пустяков —
В огонь, без колебаний, без помехи!

Я жгу стихи. Гляжу, окаменев,
Туда, в огонь, на вспыхнувшую связку,
На саламандры бешеную пляску,
На разрушенья первобытный гнев.

Срывает ветер радужный покров.
За мною мир в развалинах суров.

V

За мною мир в развалинах суров.
Я выхожу одна на бездорожье.
Я покидаю дом и отчий кров,
Не испросив благословенья божья.

Зачем оно изгнаннице? Таков
Надменный вызов прошлому. Чего ж я
Опять ищу? Опять мой дух готов
На камни пасть у нового подножья.

И чередуя навыки — роптать,
Благоговеть, отчаиваться, верить, —
Не знаю, как друг с другом сочетать
Противоречия? Какой их мерой мерить?

Куда идти? К какой стремиться цели?
За мной кружат, вздымая прах, метели.

VI

За мной кружат, вздымая прах, метели,
Занесены следы дорог и троп.
Иду, бреду, шагаю еле-еле
Навстречу ветру, дующему в лоб.

И дрожь, как ритм, я ощущаю в теле, —
Великий одиночества озноб.
Куда иду? Не сдать ли в самом деле
И лечь, как в гроб, в серебряный сугроб?

Но вот вдали запел чуть слышно рог.
Он ширится, растет. Он созывает
Блуждающих и сбившихся с дорог,
Он в рев и в медь трубы перерастает.

И брезжит свет. И небеса прозрели.
И новый век встает из колыбели.

VII

И новый век встает из колыбели.
Его встречает вой и шабаш вьюг,
И вихри туч, над ним смыкая круг,
Как в дьявольской несутся карусели.

Мне страшен пир космических веселий,
Случайный гость, я прячу свой испуг,
Когда мне чашу новогодних зелий
С улыбкою протягивает друг.

Властитель помыслов и снов девичьих,
Околдовавший молодость мою!
Тебя всегда, везде я узнаю,
Под маскою любой, в любом обличье.

Теперь, как Феникс, ты восстать готов
Из пепелища истин и основ.

VIII

Из пепелища истин и основ
Восстав, ведет меня мой покровитель
В еще не освященную обитель
Еще не заселенных берегов.

Не обжит человеком этот кров,
В его стенах уюта не ищите,
Но у порога — ран моих целитель —
Журчит струя подземных родников.

И я, к истоку в первый раз припав,
Пью колдовство Тристанова напитка.
Прохлада в нем блаженная и пытка
Глубоко скрытых, медленных отрав.

И тайный мир мой, без цветов, без брашен,
Еще не убран в ризы, не украшен.

IX

Еще не убран в ризы, не украшен
Новорожденный век. И не отпет
Былой, владевший миром сотню лет.
Еще пожар последний не погашен.

В развалинах дворцов его и башен,
И зарева окровавленный свет
Еще зловец на небесах и страшен.
Но правоту и логику побед,

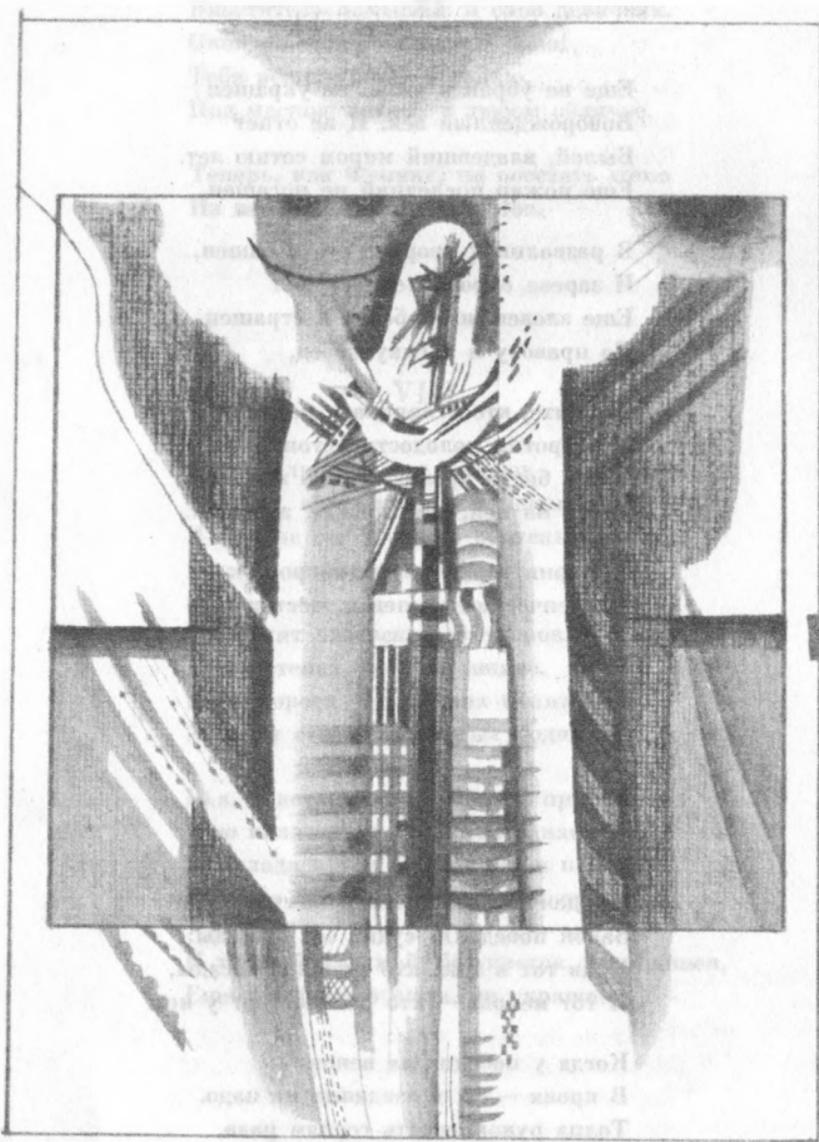
Скажите, кто оспаривать посмеет?
Кто против молодости устоит?
Пусть битва кровью землю напоит,
Трава на ней, как прежде, зеленеет.

И жизни торжествующий росток
Младенчески-невинен и жесток.

X

Младенчески-невинен и жесток
Закон побед. Он судит без пощады:
Прав тот в бою, кто миновал засады,
И тот неправ — кто распростерт у ног.

Когда у победителя венок
В крови — ей оправдания не надо.
Толпа рукоплескать героям рада,
Пока им покровительствует рок.



Но колесо коварно у фортуны,
И вознесенных ею, в свой черед,
Оно раздавит. Новых вознесет,
И новых сбросит. И ворвутся гунны.

О бедный мир! Ты снова перепашен,
И дик, и наг, и наготою страшен.

XI

И дик, и наг, и наготою страшен,
Под новым знаменем шагает век.
Идет с ним в ногу новый человек,
Идут за ним сыны и внуки наши.

В тылу не счесть ни пленных, ни калек,
Ни тех, кто в страхе наспех прекращен
В защитный цвет и для кого навек
Чадающий факел прошлого угашен.

И всех, и все с дорог своих сметет
Напор судьбы, подобный урагану.
А гений времени летит вперед,
Провозглашая новую осанну,

Его полет бесстрашен и высок.
Он расправляет крылья на восток.

XII

Он расправляет крылья на восток,
Туда, где омывают океаны
Легендами овеянные страны,
Там расцветает огненный цветок.

Его лучей животворящий ток
Пронзает мрак и золотит туманы.
Как в сказке, там живой воды исток
Смертельные залечивает раны.

Там мудрость правит. Там равно и щедро
Благами жизни все наделены.
Там в явь живую воплотились сны,
Там сева ждут алкающие недра,

И новый сеятель летит в лазури,
Лечу за ним, лечу, как семя бури.

XIII

Лечу за ним, лечу, как семя бури,
Вплетаю голос в громовой хорал!
Так флейты звук, возникший в увертюре,
С победой труб врывается в финал.

Так силы первобытные в натуре
Противоречат тем, кто их сковал,
Кто все ходы, как в шахматной фигуре,
С расчетом шахматиста сочетал.

Напрасный труд. Ломая все преграды,
Гармонии взрывая тишь и гладь, —
Неукротимым силам жизни надо
Рождать и рушить, жечь и созидать,

И вновь лететь вперед на крыльях фурий,
Плодотворить грядущего лазури.

XIV

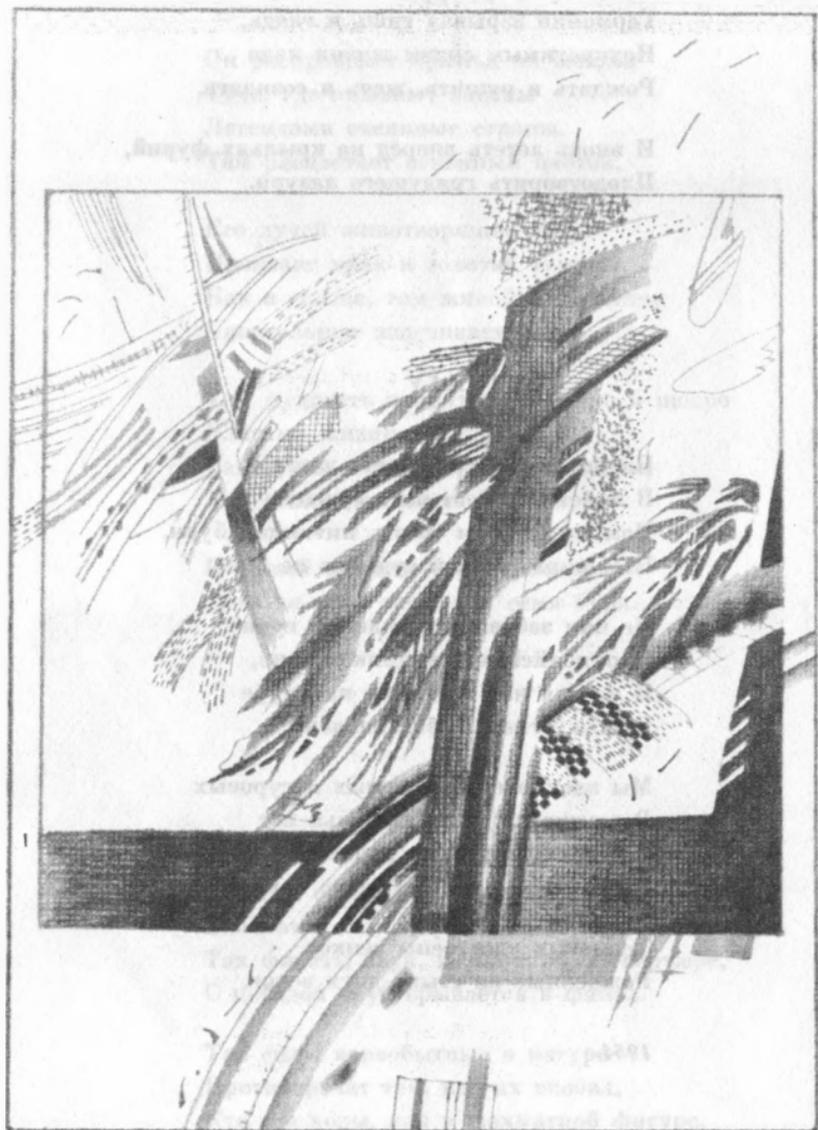
Плодотворить грядущего лазури
В полете дней от века суждено
Нам, спутникам грозы, питомцам бури,
Нам мирных дней судьбою не дано.

Не нам забавы муз, напевы гурий,
Дионисийских праздников вино,
И не для нас трепещет на амуре
Крыло, огнем любви опалено.

Мы вдохновений трудных и суровых
Возжаждали. Нам утоленья нет
В бесцельной смене радостей и бед.
Не виноградных, нет, и не лавровых, —

Терновых удостоены венков
Рожденные на стыке двух веков.

1954





СУМЕРКИ

Таает долгий зимний день...
Все слилось во мгле туманной,
Всеобъемлющей и странной...
В доме сумерки и тень.

О, мечтательный покой
Зимних сумерек безбрежных,
И ласкающих, и нежных,
Полных прелести немой!

В старом доме тишина,
Все полно дремотной лени,
В старом доме реют тени...
В старом доме я одна.

Чуть доносится ко мне
Шумных улиц гул нестройный,
Словно кто-то беспокойный
Тщетно мечется во мгле!

Ночь крадется у окна...
С бледной немощной улыбкой
Таает день больной и зыбкий.
В сердце сумрак... Тишина...

⟨1903(?) 1904(?)⟩

* * *

Я шла пустыней выжженной и знойной.
За мною тень моя ленивая ползла.
Был воздух впереди сухой и беспокойный,
И я не ведала, куда, зачем я шла.

И тень свою в тоске спросила я тогда:
— Скажи, сестра, куда идем с тобою? —
И тень ответила с насмешкою глухою:
— Я за тобой, а ты, быть может, никуда.

Май 1905

* * *

Шестнадцать лет прошло! Шестнадцать долгих лет,
Исполненных надежд и сладкого мечтанья,
Наивно-детского немого ожиданья,
Стремленья к счастью, которого все нет!
Шестнадцать долгих лет! О, почему же мне
Все кажется, что жить еще не начала я?
Что это лишь намек, лишь греза молодая,
Что я еще пока в каком-то полусне?

.

1904

* * *

Здесь на земле, в долинах низких
Под сенью темных смрадных крыш
Связала паутина близких,
И вьет гнездо земная мышь.

Толпятся близкие в долине,
Шумят, — но каждый одиноко
И прячет у себя в пустыне
Застывший, ледяной комок.

2 ноября 1905

СЛОВА

Я помню — нежными горячими словами
Баюкал ты меня. И было счастье с нами.
Так сладко в полусне кружилась голова.
Но дни прошли... И вот засохшими губами
Шепчу самой себе бессонными ночами
Смешные, жалкие, забытые слова!

10 января 1906

МОЕ НАЧАЛО

Нет, не грядущее мне дико,
А прошлое небытие!
Ужель с младенческого крика
Возникновение мое?

Меня иному память учит.
Пусть жизнь из мрака начата,
Порой томит ее и мучит
Воспоминания тщета.

И часто по дороге древней
Я духом возвращаюсь вспять,

Чтоб проследить мой путь кочевный
И нить в прошедшем оборвать.

Но нет конца ей, вдаль бегущей...
И я, раздумьем жизнь дробя,
На миг и в прошлом, как в грядущем,
Теряю в вечности себя!

* * *

Надеть бы шапку-невидимку
И через жизнь пройти бы так!
Не тронут люди нелюдимку,
Ведь ей никто ни друг, ни враг.

Ведет раздумье и раздолье
Ее в скитаньях далеко.
Неуязвимо сердце болью,
Глаза раскрыты широко.

И есть ли что мудрее, люди, —
Так, молча, пронести в тиши
На приговор последних судий
Неискаженный лик души!

ДЕНЬ В ВОРОНЦОВЕ

I

Мед золотой несет на блюде
К нам старый пчельник на крыльцо.
У старика колени гнутся,
И строго древнее лицо.

С поклоном ставит на оконце,
Рукой корявой пчел смахнул
И в небо смотрит. В небе солнце,
И синь, и зной, и темный гул.

— Вот, дедушка, денек сегодня! —
Он крестит набожную плоть
И шепчет:
— Благодать Господня!
Послал бы дождичка Господь!

II

И впрямь старик накликал тучи!
Лиловой глыбою плывут.
Полнеба сжал их неминуемый,
Их душный, грозовой уют!

В испуге закачались травы,
Лежат поля омрачены.
Сады и нежные дубравы
В лиловом воздухе черны.

III

И тяжкий молот вдруг над миром занесен.
Как странно в тишине вся жизнь остановилась!
Вот что-то дрогнуло и глухо покатилося,
И распахнулась дверь на ветреный балкон.

А ветер буревой на темные поля
И свист, и ливень яростный обрушил,
Пришиб и смял сады, дремотный сон нарушил,
И ровно загудев, очнулася земля.

⟨Лето 1914⟩

* * *

Когда архангела труба
Из гроба нас подымет пением,
Одна нас поведет судьба
По рассветающим селениям.

И там, на берегах реки,
Где рай цветет нам уготованный,
Не выпущу твоей руки,
Когда-то на земле целованной.

Мы сядем рядом, в стороне
От серафимов, от прославленных,
И будем помнить о земле,
О всех следах, на ней оставленных...

1914

* * *

Над дымным храпом рысака
Вздымает ветер облака.

В глухую ночь, в туманы, в снег
Уносит сани легкий бег.

Ни шевельнуться, ни вздохнуть —
Холодный воздух режет грудь.

Во мраке дачи и сады,
И запах снега и воды.

О, пожалей, остановись,
Уйми коней лихую рысь!

Но тверже за спиной рука,
Все громче повист ямщика,

Все безнадежней, все нежней
Звонят бубенчики коней, —

И сумасшедшая луна
В глазах твоих отражена.

1915

* * *

Так суждено преданьем, чтобы
У русской девы первый хмель
Одни лелеяли сугробы,
Румяный холод да метель.

И мне раскрылись колыбелью
Глухой Олонии снега
В краю, где сумрачною елью
Озер синеют берега,

Где невеселые просторы
Лишь ветер мерит да ямщик,
Когда, косясь на волчьи норы,
Пронесут кони напрямик.

Не потому ль — всем розам юга
И всем обычаям назло —
В снегах, покуда пела вьюга,
Впервые сердце расцвело!

И чем смиреннее и туже
В бутон был скручен строгий цвет,
Тем горячей румянит стужа
Его негаданный рассвет!

Январь 1917. Москва

НИКИНЫ ПЕСЕНКИ.

Колыбельная

Уж ты галочка,
Трепыхалочка,
Голохвосточка,
Белокосточка, —
Помоги как-нибудь
Ты Никитушке заснуть.

Уж ты ельничек,
Можжевельничек,
Весь в иголочках,
Остроколочках, —
Не шуми, не гуди
Да Никиту не буди.

Уж ты ветер, ветерок,
Прилетай на наш порог,
Ты свернись клубком,
Укачай наш дом,
Баю-бай, запевай,
Сон да дрему навевай!

*Май 1917.
Нике три месяца.*

* * *

Проходят мимо неприявшие,
Не узнают лица в крови.
Россия, где ж они, кричавшие
Тебе о жертвенной любви?

Теперь ты в муках, ты — родильница.
Но кто с тобой в твоей тоске?
Одни хоронят, и кадильница
Дымит в кощунственной руке.

Другие вспугнуты, как вороны,
И, стоны слыша на лету,
Спешат на все четыре стороны
Твою окаркать наготу.

И кто в безумьи прекословия
Ножа не заносил над ней!
Кто принял крик у изголовья
И бред пророческих ночей?

Но пусть. Ты в муках не одна еще.
Благословенна в муках плоть!
У изголовья всех рождающих
Единый сторож есть — Господь.

Октябрь 1917

* * *

Высокомерная молодость,
Я о тебе не жалею!
Полное пены и холода
Сердце беречь для кого?

Близится полдень мой с грозами,
Весь в плодоносном цветении.
Вижу — с блаженными розами
Колос и терн перевит.

Пусть не одною услadoю —
Убылью, горечью тления,
Смертною тянет прохладною
Из расцветающих недр, —

Радуйся, к жертве готовое,
На острие вознесенное,
Зрей и цвети, иступленное
Сердце, и падай, как плод!

Декабрь 1917. Москва

* * *

*Алексей — Человек божий,
с гор вода.*

Календарь, 17 марта

Алексей — с гор вода!
Стала я на ломкой льдине,
И несет меня — куда? —
Ветер звонкий, ветер синий.

Алексей — с гор вода!
Ах, не страшно, если тает
Под ногой кусочек льда,
Если сердце утопает!

1918

Вторая неделя поста,
А здесь уж забыли о стужах.
В деревьях сквозит чернота,
И голубь полощется в лужах.

А в милой Москве еще снег,
Звон великопостный и тихий,
И санок раскидистый бег
В сугробах широкой Плющихи.

Теперь бы пойти на Арбат
Дорогою нашей всегдашней!
Над городом галки кричат,
Кружат над кремлевскою башней.

Ты помнишь наш путь снеговой,
Счастливый и грустный немножко,
Вдоль старенькой церкви смешной, —
Никола на Куриих Ножках?

Любовь и раздумье. Снежок.
И вдруг, неожиданно, шалость,
И шуба твоя, как мешок...
Запомнилась каждая малость:

Медовый дымок табака, —
(Я к кэпстену знаю привычку), —
И то, как застыла рука, —
Лень было надеть рукавичку...

Затоптан другими наш след,
Счастливая наша дорожка,
Но имени сладостней нет —
Никола на Куриих Ножках!

Март 1919. Одесса

* * *

Звенел рососою юный стих мой
И музыкой в семнадцать лет.
Неприхотлив и прост поэт,
Воспламененный первой рифмой.

Но лишь хорей золотые
Взнуздали жизнь, — она мертва!
Окаменев, лежат слова,
Всем грузом плоти налитые.

И все бессильнее закреп
Над зыбью духа непослушной.
О слово, неподвижный склеп,
Тебе ль хранить огонь воздушный!

Март 1919. Одесса

* * *

Фаусту прикидывался пуделем,
Женщиной к пустыннонику входил,
Простирал над сумасшедшим Врубелем
Острый угол демоновых крыл.

Мне ж грозишь иными приворотами,
Душу испытываешь красотой,
Сторожишь в углах перед киотами
В завитке иконы золотой.

Закипаешь всеми злыми ядами
В музыке, в преданиях, в стихах,
Уязвляешь голосами, взглядами,
Лунным шаром бродишь в облаках.

А когда наскучит сердцу пениться,
Косу расплету ночной порой, —
Ты глядишь из зеркала смиренницей —
Мною, нечестивою, самой.

Апрель 1919. Одесса

* * *

День прошел, да мало толку!
Потушили в зале елку.
Спит, забытый на верхушке,
Ангел, бледный от луны.

Золотой орешек с елки
Положу я под подушку —
Будут радостные сны.

В час урочный скрипнет дверца —
Это сон взойдет и ляжет
К изголовью моему.

— Спи, мой ангел, — тихо скажет.
Золотой орешек-сердце
Положу на грудь ему.

* * *

Шатается по горенке,
Не сыщет уголка
Сестрица некрещенная,
Бессонная тоска.

Присядет возле ног моих,
Колени обовьет,

Бормочет мне знакомый стих
И все поет, поет.

И руки бесприютные
Все прячет мне на грудь,
Глядит глазами смутными,
Раскосыми чуть-чуть...

1918

* * *

Рвануло грудь, и подхватило,
Запела гулкая свирель.
Я видела, как уронила
Былые руки на постель.
Я видела, как муж, рыдая,
Сжал тело мертвое мое.
И все качнулось, в свете тая.
Так вот оно — небытие!

Вздохнуть хотела бы — нет дыхания,
Взглянуть хотела бы — забыла взор.
Как шумы вод — земли восклицания,
Как эхо — гонятся влед рыдания,
Костяшки слов, панихиды хор,
И вопль, как нож: ах, что же это!
Вопль без ответа,
Далеко где-то.

И вот по воздуху, по синему —
Спираль, развернутая в линию,
Я льюсь, я ширюсь, я звеню
Навстречу гулкому огню.

Меня качают звоны, гуды,
И музыки громовой груды
Встречают радостной грозой
Новорожденный голос мой.

⟨1912⟩

* * *

Не окрылить крылом плеча мне правого,
Когда на левом волочу грехи.
Не искушай, — я знаю, от лукавого
И голод мой, и жажда, и стихи.

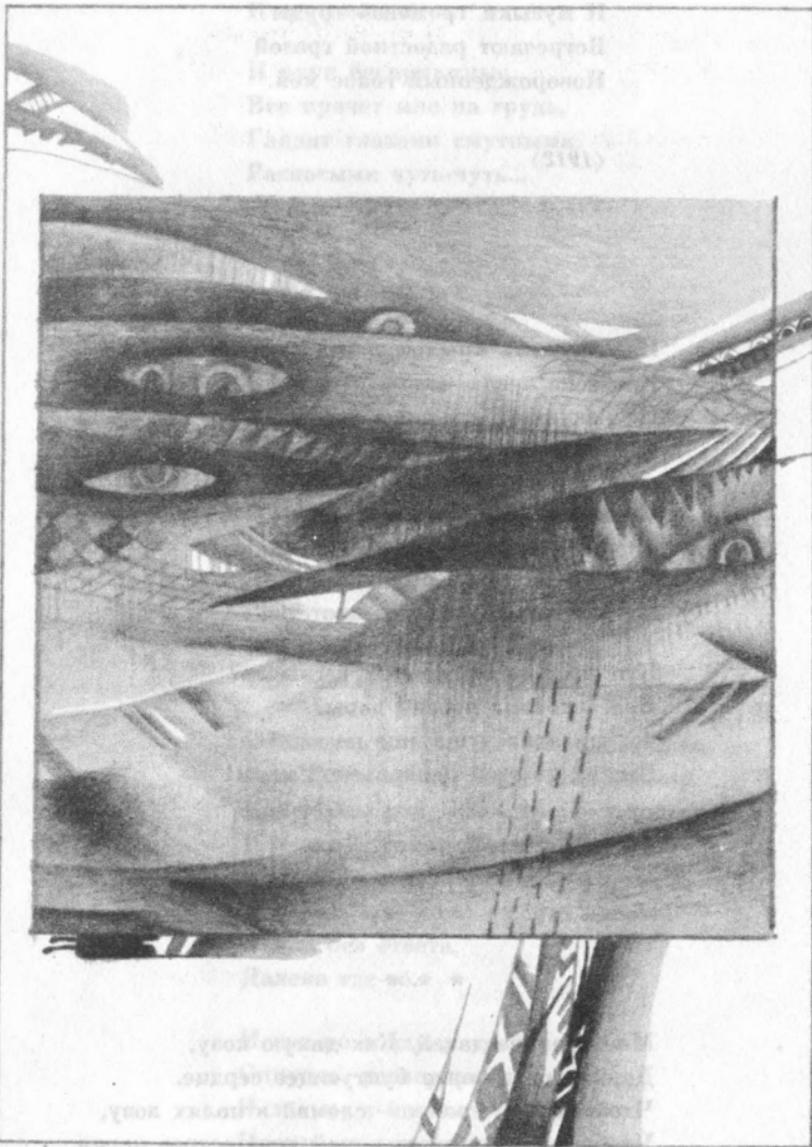
Не ангелом-хранителем хранима я, —
Мечта-кликлуша за руку ведет,
И купина твоя неопалимая
Не для меня пылает и цветет.

Кто говорил об упоенье вымысла?
Благословлял поэзии дары?
Ах, ни одна душа еще не вынесла
Бесследно этой дьявольской игры!

8 декабря 1921

* * *

Мне воли не давай. Как дикую козу,
Держи на привязи бунтующее сердце.
Чтобы стегать меня — сломай в полях лозу,
Чтобы кормить меня — дай трав острее перца.



Веревку у колен затягивай узлом,
Не то, неровен час, взмахнут мои копытца
И золотом сверкнут. И в небо напролом...
Прости, любовь!.. Ты будешь сердцу сниться...

Июль 1921. Камб

ГАДАНЬЕ

Горит свеча. Ложатся карты.
Смущенных глаз не подниму.
Прижму, как мальчик древней Спарты,
Лисицу к сердцу моему.

Меж черных пик девяткой красной,
Упавшей дерзко с высоты,
Как запоздало, как напрасно
Моей судьбе предсказан ты!

На краткий миг, на миг единый
Скрестили карты два пути.
А путь наш длинный, длинный, длинный,
И жизнь торопит нас идти.

Чуть запылав, остынут угли,
И стороной пройдет гроза...
Зачем же веще, как хоругви,
Четыре падают туза?

Июль 1921. Камб

* * *

Такое яблоко в саду
Смущало бедную праматерь,
А я, — как мимо я пройду?
Прости обеих нас, создатель!

Желтей турецких янтарей
Его сторонка теневая,
Зато другая — огневая,
Как розан вятских кустарей.

Сорву. Ужель сильней запрет
Веселой радости звериной?
А если выглянет сосед —
Я поделюсь с ним половиной.

Сентябрь 1921. Камб

* * *

Яблоко, протянутое Еве,
Было вкуса — меди, соли, желчи,
Запаха — земли и диких плевел,
Цвета — бузины и ягод волчьих.

Яд слюною пенной и зловонной
Рот обжег праматери, и новью
Побежал по жилам воспаленным
И в обиде божьей назван — кровью.

Июль 1921. Камб

* * *

Таро — египетские карты —
Я разложила на полу.
Здесь мудрость темная Астарты, —
Цветы, приросшие к жезлу,

Мечи и кубки... Символ древний,
К стихиям мира тайный ключ,
Цветы и лев у ног царевны,
И голубой астральный луч.

В фигурах, сложенных искусно,
Здесь в треугольник, там в венок,
Мне говорили, светит тускло
Наследной истины намек.

Но разве мир не одинаков
В веках, и ныне, и всегда,
От кабалы халдейских знаков
До неба, где горит звезда?

Все та же мудрость, мудрость праха,
И в ней все тот же наш двойник —
Тоски, бессилия и страха
Через века глядящий лик.

* * *

Босоногий мальчик смуглый
Топчет спелый виноград.
Сок стекает в желоб круглый.
В темных бочках бродит яд.

Наклонись-ка! Не отрада ль
Слышать ухом жаркий гул,
Словно лавы виноградарь
С кислой пеной зачерпнул!

Над сараем зной и мухи.
Пусть. Ведь сказано давно:
Если дни и ночи сухи —
Будет доброе вино.

23 сентября 1921

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Недаром пела нам гитара
О роковой, о нежной встрече.
Опять сияньем и угаром
Цыганский голос давит плечи.

Глядеть на милое лицо
Твое, ах, лучше бы не надо.
Другое на руке кольцо,
И новый голос плачет рядом.

Но тот же ты, и та же я,
Пускай полжизни бури взрыли.
Ах, ты да я... Ах, ты да я...
Мы ничему не изменили.

Ноябрь 1921. Берлин

* * *

Не голубые голуби
Спускаются на проруби
Второго Иордана.

Слетает вниз метелица,
Колючим вихрем стелется,
Свивает венчик лдяный.

И рамена Крестителя
Доспехами воителя,
Не мехом сжаты ныне.

Горит звезда железная,
Пятиугольной бездною,
Разверстою пустыней.

Над голой кожей зябкою
Лишь ворон черной тряпкою
Взмахнет и отлетает.

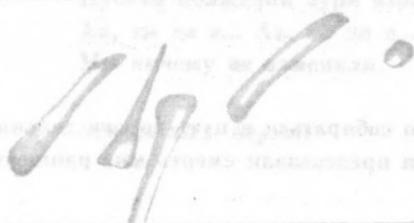
Новокрещен морозами,
Дрожит младенчик розовый,
Дрожит и замерзает.

Берлин, ноябрь 1921

* * *

Видно, надо собираться в путь-дорогу дальнюю.
Две гадалки предсказали смерть мне раннюю.

〈1921〉





ДОРОГА В МОЭЛАН

Роман в стихах

I

На станцию Кемперлей
Забросил экспресс из Дижона
Двух русских, беспечных людей,
Наверное, молодоженов.

Покуда справлялся он
О способах передвиженья
(Автобус или фазтон) —
Жена его в изнеможеньи

От качки ночного вагона
Присела на чемодан.
Свежело. На гравий перрона
Росой оседал туман,

Дымок за туннелью таял.
Но брызнуло солнце вдруг,
Спугнув воробьиную стаю,
И стало светло вокруг.

И снова вокзальная площадь.
Как много на свете их!
«Я думаю, было б проще
Омлет заказать на двоих.

Вот это кафе, дорогая,
Смотри — «Rendez-vous de cochers»*.
Жена отвечала, зевая:
«И мне оно по душе».

Салфеткой в красных квадратах
Железный столик накрыт.
Яичница солоновата,
Зато, — какой аппетит!

И мед деревенский, клейкий.
«Я нигде такого не ел».
«Подумать, на этой скамейке
Гоген, быть может, сидел.

Гоген по дороге этой
Не раз в Моэлан шагал,
И ветер с его берета
Дорожную пыль сдувал».

«Ты сыта? Garçon, получите!»
А гарсон давно уже сед,
И жестом привычной прыти
Сует чаевые в жилет.

* Свидание кучеров (*франц.*).

II

Дорога до Мозлана
Мимо фруктовых садов,
Мимо цветущих каштанов
В которых щебечут птицы,
Мимо уютных домов
Под красной черепицей.

Дорогою до Мозлана
Извозчик, старик в канотье,
Рассказывает пространно
О местном житье-бытье.

Он и политик к тому же.
«Пора повернуть колесо.
Дела ведь не лучше, а хуже.
Чего же молчит Клемансо?»

Был сын, рыбак на Нордкапе,
Но в шторм прошлогодний погиб.
Кобылу в соломенной шляпе
Он дергает: «гип-гюип!»

Дорогою до Мозлана
Ныряет в пыли экипаж.
О, этот благоуханный
Деревенской Бретани пейзаж!

Дорога до Мозлана
Теперь утопает во ржи,
Стрекочут над нею стрижи,
И запах струится медвяный
С веселой полоски межи.

А там за межою, как чудо,
Плутая в колосьях ржи,

Парус белый скользит, откуда?
Откуда он взялся, скажи?

Откуда ветер рванулся
И чайки белой лоскут?
Извозчик, смеясь, обернулся,
Над кобылой поднял кнут,

Указал седокам с пригорка
На пески, желтей янтаря,
На белеющие задворки
Моэланова монастыря,

А потом на сверкающий, в пене
Фиолетовый океан...
И кобыла, мечтая о сене,
Торопилась бежать в Моэлан.

III

Ни скатерти, ни салфеток,
Одни лишь тарелки в ряд.
Коралловый мусор креветок,
Изумрудной горой салат,

Да сидр молодой в кувшинах.
Осторожней пейте его!
Только трусики на мужчинах,
А на женщинах ничего,

Кроме легких и пестрых халатов,
Обнажающих бронзу рук.
Негритянка в чалме полосатой.
Все молчат и жуют вокруг.

Вновь прибывших ввела сторожиха
И, на буйную роспись стен
Указуя, сказала тихо:
«Это сделал месье Гоген».

Вновь прибывших встретили дружно,
Скульптор поднял над сыром нож:
«Для начала попробовать нужно
Местный сыр. Он, клянусь, хорош».

«Нет, на пляже лежать опасно.
Океанские блохи здесь — ад!»
Негритянка сказала страстно:
«Передайте салат».

Визави с обожженной кожей
Жадно ест и жадно пьет.
Но, любезности ради, тоже
Улыбается во весь рот:

«Как, мадам ученица Бореля?
Он жив еще, старый верблюд?
О-ла-ла! Его акварели...
Вниманье! Жиго несут».

Чуть-чуть отдавало дымком,
Торжественно благоухало
Баранье жиго с чесноком.
И тихо в столовой стало.

IV

Приземистый, словно распластан,
Монастырь у широких волн,
Это Ноев ковчег с паствой,
Католической церкви челн.

В этих кельях когда-то монахини
От земного спасались соблазна.
И в молитвах, трудах и постах они
Длили подвиг однообразный.

Тек широкой струей мед
К настоятельнице в ворота, —
Мать Агата любила почет
И дары принимала с охотой.

А монахини жали в поле,
Собирали в корзины плоды
И, покорны Господней воле,
Ждали смертной своей череды.

И дождались. Замшелые плиты
На кладбище о том говорят.
Сколько праведных их, позабытых,
Улеглось там за рядом ряд!

За тобою ржаное поле,
Пред тобой — океана ширь.
Над тобою — Господня воля,
Моэланов монастырь!

V

Старожилы, наверное, знают,
Как случилось, что монастырь
Пансионом теперь называют,
Как песчаного берега ширь

Стала пляжем, и как, отдыхая
В Моэлане, художник Гоген

Наготой таитянского рая
Соблазнил целомудрие стен.

«Этот каменный коридор
Назывался когда-то трапезной.
Поглядите, мадам, на узор
Оконной решетки железной.

Обратите вниманье на шкаф
Деревянной резной скульптуры.
Как забавны эти амуры!»
И головы вверх задрав,

Супруги хвалили прилежно
Шедевры и хлам старины,
Все, чем восхищаться должны
И что хвалить неизбежно.

«А это — сны о Таити.
Это Гоген писал.
Налево — Ван-Гог, взгляните.
В Моэлане он тоже бывал.

Моэлан — это символ веры.
Школа дерзости. С давних пор
В Моэлане пишут пленеры
Всем традициям наперекор».

Он был почти как пророк,
Вдохновенно на даму глядя,
Голый — в трусиках — паренек.
Но сказала художнику Надя

С достоинством и тоской:
«В Москве такого Ван-Гога
У папы на Поварской
Висело довольно много».

Художник ответил: «О-о!»,
И что это «о-о!» означало,
Наверно, не понял никто,
Но всем неудобно стало.

Скульптор шепнул: «А ты, Роже,
Не в дураках ли уже?»

VI

Для Роже родина — Камб.
Есть такой городок на Гарроне.
Мальчишкой, учась в пансионе,
Он вырезал первый эстамп.

Отец был простой винодел.
Сын помнил помост покатый,
Кашу ягод и пятки прицел
Над раздавленной гроздью муската,

Чрево бочек, глухих великанш,
Где Вакх совершал свое дело,
Где вино, рождаясь, гудело, —
Таким вспоминал он ванданж.

Но умер отец, и наследства
Не оставил, и кончилось детство.

У дяди в Париже быстро.
Он племянника взял в гарсоны.
Так поставлены были остро
Его юной судьбе препоны.

Но Роже не унывал.
Он рисовал, рисовал, рисовал...

Он рисовал на подносе мелком,
Он рисовал на стене угольком,
Он рисовал на винных счетах,
Он рисовал на бильярдных шарах,
Он рисовал на своей манжете,
Он рисовал на чужой газете,
Всюду, где был он, везде, где дышал, —
Он рисовал.

VII

Устроились на песке,
Кое-как примостив подрамник.
Надя с палитрой в руке
Писала прибрежные камни.
Над Шпенглером муж скучал:
«Этот модный закат Европы...»
«Интересен?» Он ей отвечал:
«Любопытно. Но не так уже, чтобы...»

И замолк, опустив над очками
Целлулоидовый козырек.
Пена взлетала клочками
И падала на песок.

«Скажи, тебе нравится здесь?»
«Что ж! Места не так уж и плохи.
Уголки живописные есть.
Вот только б не эти блохи!»

А блохи резвились в песке,
С кузнечиков величиною.
И Надя сказала в тоске:
«Не знаю я, что со мною.

Я совсем разучилась писать».
На песок швырнула палитру.
«Зачем же себя истязать? —
Муж ответил. — Дай пальчики вытру».

И краски в ящик сложил,
И палитру вытер, как надо,
И вытянув губы, спросил:
«Мне будет за это награда?»

Но ему получить награду
Помешал голых ведьм шабаш
И художников голых стадо,
Ворвавшееся на пляж.

Как бешеные кентавры,
Скакали по пляжу они,
Не европейцы, а мавры.
Скульптор крикнул жене: «Догони!»

И жена, молодая датчанка,
Полотенце на бедрах связав,
Косу рыжую ртом зажав,
Как гончая на приманку

Понеслась за мужем туда,
Где кипела, сверкала, гремела,
Озверело кидалась вода
На купальщиков голое тело.

И брызги, и ветер, и зной!
По колену Евгения глядя
(Брюки шил самый модный портной),
Осторожно спросила Надя:

«Ты не снимешь их, мой дорогой?»
Муж ответил, слегка уязвлен:
«Если это — дань Элладе...»
И спиной повернувшись к Наде,
Раздеваться начал он.

Сбросив платице от Эберлинга
И шагнув из веночка белья,
Бело-розовая, как фламинго,
Надя крикнула: «Вот и я!»

Муж сказал: «Дорогая моя,
Твой купальный костюм, он тут?
Одевайся. Сюда идут».

Но не шли сюда, а бежали
Негритянка, за ней Роже.
«Вы купаться? А мы уже».
И оба в песок упали.

Юноша, бурно дыша,
Приподнялся, глядел на даму.
(Так Ева была Адаму
Первозданна и хороша.)

И глазами ее пожирая,
Он следил, как она легко,
По раковинам ступая,
Шла, затянута в трико.

Негритянка сказала: «Mon vieux*,
Что с тобой? Не гляди на нее».

* Старина (*франц.*).

VIII

Кто в двадцать лет безумно не влюблялся?
И сбитый с толку молодой Роже
Бродил в полях по скошенной меже,
Дичал, худел, уединялся.

«Но этот детский огорченный рот,
И эта грудь охотницы Дианы,
И этот муж, воспитанный урод!
Эстетикой набитые карманы.

Ничтожество целует недотрогу!»
Роже сорвал с досады василек,
Куснул его и бросил на дорогу.
И сам в отчаяньи ничком на землю лег.

IX

Вокруг свечи толклись и гибли мошки.
Евгений голову по-бабьи повязал
И с картами уселся у окошка.
«У этого пасьянса, — он сказал —
Замысловатая довольно схема. —
И, подняв голову от карт, —
Ты знаешь, эта новая богема —
Невыносимый, в сущности, стандарт».

Молчала Надя. Думала в тоске:
«Стандарт. Так папиросы называют».
Потом к столу присела с краю
И вот что записала в дневнике:

«Понять слепому слепоту,
Понять, что я бездарна, боже!

Все волоски болят на коже
От омерзения к холсту.
А говорили, я почти что гений,
Башкирцева почти что я.
Кто говорил? Московские друзья,
Учителя, родители, Евгений.

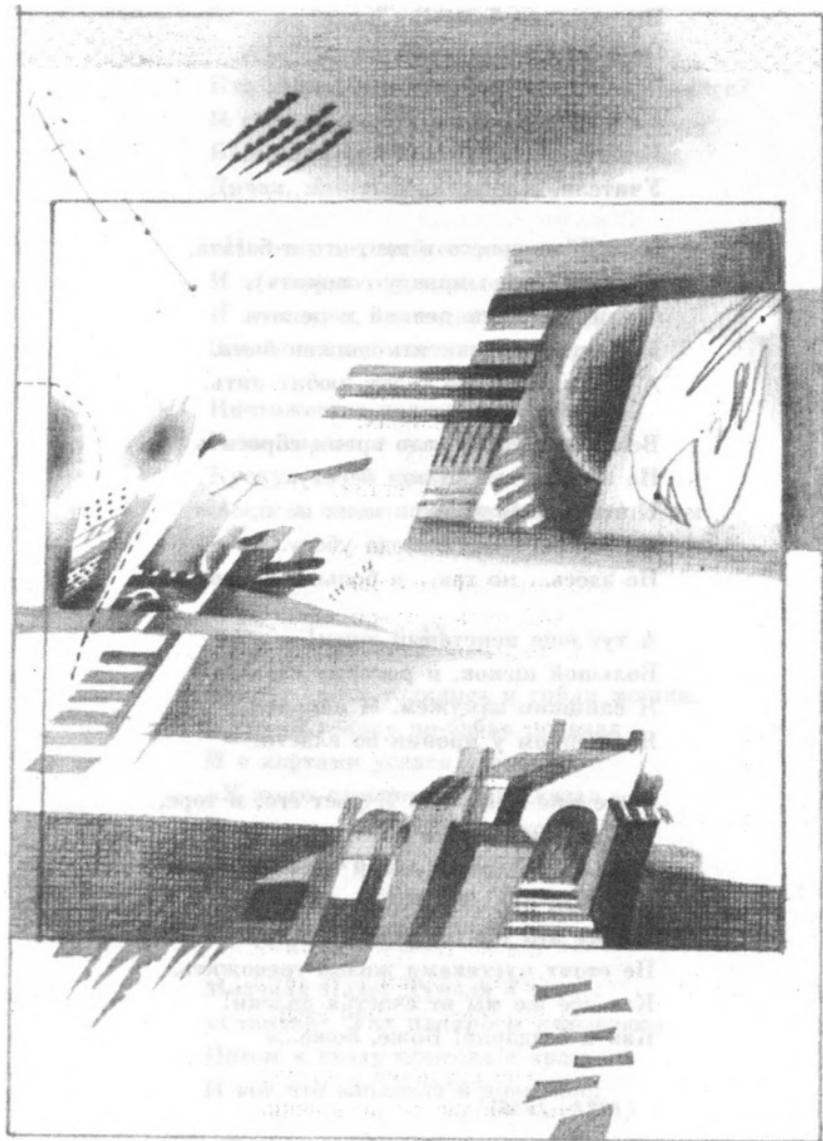
Нет. Дело просто в том, что я богата,
Красива (надо правду говорить).
С единственной дочкой мецената
Покладистым учитель должен быть.
А мой к тому же водку любит пить.

Всю мишуру настало время сбросить
На этом диком, голом берегу...
К столу избранников меня не просят.
Ну что ж! Сама отсюда убегу.
Но здесь... но так... я больше не могу.

А тут еще неистовый юнец!
Большой щенок, и роковые страсти!
Я слишком замужем. И наконец,
Я слишком у иронии во власти.

Роже мне нравится. И рост его, и торс,
Его продолговатый ноготь,
И на загаре персиковый ворс,
Который пальцем хочется потрогать.
Но все это такие пустяки!
Не стоит пустяками жизнь тревожить.
Как все же мы от счастья далеки!
Как я бездарна! Боже, боже...»

〈1921—1956〉





* * *

Мне снятся паруса,
Лагуна в облаках,
Песчаная коса
И верески в цветах.

Сквозь дрему узнаю
За дымкой голубой
Твой путь в чужом краю
С подругой молодой.

Июль 1935

* * *

А я опять пишу о том,
О чем не говорят стихами,
О самом тайном и простом,
О том, чего боимся сами.

Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи.
Они — как жалоба, как зов,
Они — как родинка на коже.

Но кто-то губы освежит
Моей неутоленной жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой.

1935

* * *

Небо называют — голубым,
Солнце называют — золотым,
Время называют — невозвратным,
Море называют — необъятным,
Называют женщину — любимой,
Называют смерть — неотвратимой,
Называют истины — святыми,
Называют страсти — роковыми.
Как же мне любовь мою назвать,
Чтобы ничего не повторять?

* * *

Больше не будет свидания,
Больше не будет встречи.
Жизни благоухание
Тленьем легло на плечи.

Как же твое объятие,
Сладостное до боли,
Стало моим проклятием,
Стало моей неволей?

Нет. Уходи. Святотатства
Не совершу над любовью.
Пусть монастырское братство,
Пусть одиночество вдове,

Пусть за глухими воротами
Дни в монотонном уборе.
Что же мне делать с вами,
Недогоревшие зори?

Скройте вы за облаками,
Больше вы не светите!
Озеро перед глазами,
В нем — затонувший Китеж.

* * *

Ты спишь, а я гляжу, бессонная,
В лицо твое, преображенное
Холодным таинством луны.
И всею нежностью утраченной,
И всей разлукой предназначенной
Мои радумия полны.

Твое лицо — как цвет магнолии,
И на груди лежит в безволии
Рука, скрещенная с рукой,
В такой усталости утонченной,
Как будто все уже окончено
И все исполнено тобой.

* * *

Люби другую, с ней дели
Труды высокие и чувства,
Ее тщеславье утоли
Великолепием искусства.

Пускай избранница несет
Почетный груз твоих забот:
И суеты столпотворенье,
И праздников водоворот,
И отдых твой, и вдохновенье, —
Пусть все своим она зовет.

Но если ночью иль во сне
Взалакает память обо мне
Предосудительно и больно,
И, сиротеющим плечом
Ища плечо мое, неволью
Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно,
Я не жалею ни о чем!

* * *

Какая-то птичка вверху, на сосне,
Свистит в ля миноре две тонкие нотки.
Я слушаю долго ее в тишине,
Качаясь у берега в старенькой лодке.

Потом камыши раздвигаю веслом
И дальше плыву по озерным просторам.
На сердце особенно как-то светло,
И птичьим согрето оно разговором.

1939. Заречье

* * *

Как песок между пальцев, уходит жизнь.
Дней осталось не так уж много.
Поднимись на откос и постой, оглянись, —
Не твоя ль оборвалась дорога?

Равнодушный твой спутник идет впереди
И давно уже выпустил руку.
Хоть зови — не зови, хоть гляди — не гляди,
Каждый шаг ускоряет разлуку.

Что ж стоишь ты? Завыть, заскулить от тоски,
Как скулит перед смертью собака...
Или память, и сердце, и горло — в тиски
И шагать — до последнего мрака.

* * *

Вспоминается ль тебе
Берег в камешках отлогий,
Запах дыни на арбе,
Что везла нас по дороге?

Мы татарских злых собак
Разбудили на деревне,
И скрипела нам арба
О кочевьях жизни древней,

О скитаньях, о судьбе,
Пожелавшей нашей встречи...
Вспоминается ль тебе
Тот далекий крымский вечер?

* * *

Нет! Это было преступленьем,
Так целым миром пренебречь
Для одного тебя, чтоб тенью
У ног твоих покорно лечь.

Она осуждена жестоко,
Уединенная любовь,
Перегоревшая до срока,
Она не возродится вновь.

Глаза, распахнутые болью,
Глядят на мир, как в первый раз,
Дивясь простору, и раздолью,
И свету, греющему нас.

А мир цветет, как первозданный,
В скрещенье радуги и бурь,
И льет потоками на раны
И свет, и воздух, и лазурь.

* * *

Слышу, как стукнет топор,
В озере булькнет уклеика,
Птичий спугнув разговор,
Свистнет в сосне красношейка.

Лес, словно пена, шипит
Шорохом, шепотом, свистом.
Здравствуй, озерный мой скит!
Нет ни тревог, ни обид
Мне в роднике твоём чистом.

* * *

Я не прячу прядь седую
В тусклом золоте волос.
Я о прошлом не тоскую —
Так случилось, так пришлось.

Все светлее бескорыстье,
Все просторней новый дом,
Все короче, проще мысли
О напрасном, о былом.

Но не убыль, не усталость
Ты несешь в мой дом лесной,
Молодая моя старость
С соучастницей-весной!

Ты несешь ко мне в Заречье
Самый твой роскошный дар:
Соловьиный этот вечер
И черемухи угар.

Ты несешь такую зрелость
И такую щедрость сил,
Чтобы петь без слов хотелось
И в закат лететь без крыл.

Весна 1939. Заречье

* * *

Он тосковал по мне когда-то
На этом дальнем берегу,
О том свидетельство я свято
В старинных письмах берегу.

Теперь другою сердце полно.
Он к той же гавани плывет,
И тот же ветер, те же волны
Ему навстречу море шлет.

И, посетив мои кладбища,
В пыли исхоженных дорог,
Увы, он с новой жаждой ищет
Следы иных, любимых ног!

Зачем же сердцу верить в чудо
И сторожить забытый дом?
О, верность, горькая причуда,
Она не кончится добром!

* * *

Тень от облака бежит по лугу.
Пробежала — и опять светло.
Дай мне руку и простим друг другу.
Все, что было, — былью поросло.

Не от счастья я была счастливой,
Не от горя горевала я.
Родилась такой уж, юродивой, —
Не кори меня, любовь моя!

За твою досаду, за обиду
Заплатила дорогой ценой.
Если встречу — не подам и виду,
Что земля уходит подо мной.

* * *

Родится новый Геродот
И наши дни увековечит.
Вергилий новый воспоеет
Года пророчеств и увечий.

Но будет ли помянут он,
Тот день, когда пылали розы
И воздух был изнеможен
В приморской деревушке Козы,

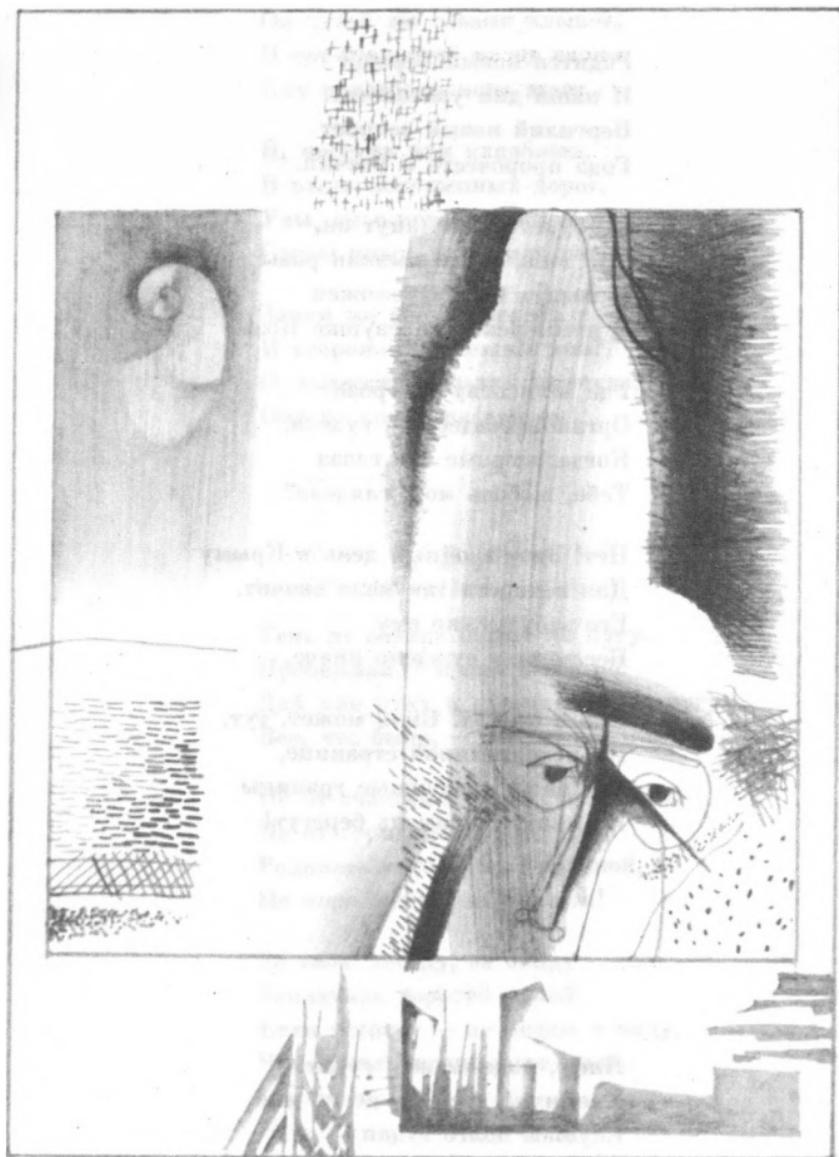
Где волн певучая гроза
Органом свадебным гудела,
Когда впервые я в глаза
Тебе, любовь моя, глядела?

Нет! Этот знойный день в Крыму
Для вечности так мало значит.
Его забудут, но ему
Бессмертье суждено иначе.

Оно в стихах. Быть может, тут,
На недописанной странице,
Где рифм воздушные границы
Не прах, а пламень берегут!

* * *

Лифт, поднимаясь, гудит.
Хлопнула дверь — не ко мне.
Слушаю долго гудки
Мимо летящих машин.



Снова слабею и жду
Неповторимых свиданий,
Снова тоска раскаляет
Угли остывших обид.

Полно сражаться, мой друг!
Разве же ты не устала?
Времени вечный поток
Разве воротить назад?

Будем размеренно жить
Бурям наперекор!
Вечером лампу зажжем,
Книгу раскроем,

С Блоком ночной разговор
Будем мы длить до зари...
Что это? Старость? Покой?
Убыль воинственных сил?

Нет. Но все ближе порог
Неотвратимых свиданий.
Слышишь? Все ближе шаги
Тех, кто ушел навсегда!

3 февраля 1940

* * *

Твоих очков забытое стекло,
Такой пустяк, — подумай!
И вот уж память мне опять заволокло
Меланхолическою думой.

О вещи, сверстники неповторимых дней!
Вы нас переживете.
Надежней вы, и проще, и верней,
Не сдвинет время вас в полете.

Где тот, кого в пути сопровождали вы?
И был ли он? Не верю.
Глухонемых вещей свидетельства — мертвы,
Они не выдадут потерю.

Они останутся, как памятник тому,
Что в этой жизни непреодолимо
Скользит к изнеможенью своему
И улетает стружкой дыма.

* * *

Мне снится твой голос над тихой рекой
И лунный свет.
Рука моя снова с твоей рукой,
Разлуки нет.

О, счастье мое! Я проснуться боюсь,
Боюсь вздохнуть.
Ты, призрак, ты, тень неживая, молю, —
Побудь, побудь!

Но тает твой облик, луной осиян,
Струится он.
Я только речной обнимаю туман,
Целую — сон!

Было все со мной не попросту,
Все не так, как у людей.
Я не жаловала попусту
Шалой юности затей.

В ночь морозную, крещенскую
Не гадала у свечи.
Со знахаркой деревенскою
Не шепталась на печи.

Не роняла слезы девичьи
На холодную постель,
Поджидая королевича
Из-за тридевять земель.

Ни веселой, ни монашенкой
Я в народе не слыла.
Над моей высокой башенкой
Месяц поднял два крыла.

По ночам пугали филины,
Да и те не ко двору.
Я шелками птицу Сирина
Вышивала по ковру.

Домяк с песнями, с причудами
Лунный ветер навещал.
Сны серебряными грудями
К изголовью навевал.

Горностаевою шкуркою
Укрывал от холодов,
Называл меня снегуркою
С олонецких берегов.

И за то, что недотрогою
Прожила до этих пор,
Ныне страшною дорогою
Жизнь выводит на простор.

Шатким мостиком над пропастью,
По разорам пустырей...
Все теперь со мною попросту,
Все теперь как у людей!

В СТАРОЙ МОСКВЕ

Памяти Е. М. Лопатиной

В гостиной беседа за чайною чашкой.
В углах уже тени, а в окнах — закат.
И кружатся галки над Сивцевым Вражком,
И март, и капель, и к вечерне звонят.

Давно карандашик ментоловый водит
Хозяйка над бровью, скрывая мигрень.
Но вот и последняя гостья уходит,
Кончается долгий и суетный день.

И в доме тогда зажигаются свечи,
А их на стене повторяет трюмо.
Платок оренбургский накинув на плечи,
Она перечитывает письмо.

Письмо о разрыве, о близкой разлуке.
«Ты слишком умна, чтоб меня осудить...»
Почти незаметно дрожат ее руки.
Две просьбы в конце: позабыть и простить.

Свеча оплывает шафрановым воском,
И, верно, страдание так молодит,
Что женщина кажется снова подростком,
Когда на свечу неподвижно глядит.

* * *

Белой яхты движенья легки,
Ускользящий парус все меньше.
Есть на свете еще чудачки,
Что влюбляются в яхты, как в женщин.

Эти с берега долго глядят
На гонимую ветром Психею,
На ее подвенечный наряд,
На рассыпанный жемчуг за нею...

1940. Заречье

ДУХОВ ДЕНЬ

И. А. Бунину

В старом парке, на опушке,
Где простор теснит сирень,
В троекуровской церквушке
Помню службу в Духов день.

Синий ладан сердцу снится,
И от каждого плеча
Запах праздничного ситца,
Крепкий запах кумача.

Дух сирени у распятия,
Жар веселых огоньков,

Баб негнущиеся платья
Из заветных сундуков.

Впереди крахмальный китель,
Бакенбарды, седина, —
Троекурова властитель
Мелко крестит ордена.

Рядом юная хозяйка
Троекурова дворца
Машет ручкой в белой лайке
У надменного лица.

Позади шипят девчатки:
«Срам-то! Что и говорить!
Рази мыслимо в перчатке
Крестно знаменье творить?»

Поливают робким ядом
Валансьены от Дусе.
Лицеист вздыхает рядом,
Отвести не может взгляда
С банта белого в косе.

А над куполом, над ними
В этот жаркий Духов день
Реет «Иже Херувимы»,
Веет белая сирень.

Старый попик чашу поднял,
Тянут матери ребят,
И пречистого Господня
Тела — первые вкусят.

Храм пустеет понемножку,
И расходится народ.

Бабы, сняв полусапожки,
Переходят речку вброд.

Старый мост скрипит под тройкой,
Бревна ходят ходуном.
Дернул вожжи кучер бойкий
И понесся напролом, —

И ныряет, и взлетает
По проселочной пыли...
В небе жаворонок тает,
Тает облачко вдали.

Бубенец Валдаем бредит,
Пробираясь сквозь овсы.
Барин с думой об обеде
Чаще смотрит на часы.

А у церкви на опушке
Снова мир и тишина.
И сирень свои верхушки
Клонит, в сон погружена.

Отлетает праздник летний, —
Как его ни сторожи.
Был ли Духов день, ответь мне?
Или снился он, скажи?

<1939(?) 1940(?)>

* * *

Затуманил осенний дождь
Берега твои, Терегоц.
И зловеще и похоронно
Против ветра кричит ворона.

Окровавлен рябины лист,
А березовый — золотист.
Только елки, как богомолки,
Почернели, хранят иголки.

Парус штопанный рыбака
Вздул сырые свои бока.
Мчится — щуку ли догоняет?
Или просто в волнах ныряет?

А в Заречье скрипит забор,
Ветры встретились с двух озер,
Рвут солому, кидают стогом,
Трубят в рог над Николой-Рогом.

Заречье, осень 1940.

* * *

Н. М. Лозинской

Дождь льет. Сампсоний-сеногной
Тому виной.
Так учит древняя примета.
У старика одна лишь цель:
Сгноить дождями в шесть недель
Покос бессолнечного лета.

Зато раздолье мухоморам —
Бесстыжим баловням судьбы.
Тучнеют, пучатся грибы.
В лесу, в лугах, по косогорам —
Везде грибы. Готовьте кадки,
Хозяйки! Рыжик, жирный груздь
Кладите в соль в таком порядке:

На дно укроп, чеснок, и пусть
Покроет сверху лист смороды
Дары роскошные природы.

Но все же, без тепла, без света,
Дождем завесься, как фатой,
Грустит заплаканное лето,
Глядит казанской сиротой.

А ты? Готова ты отдать
Все рыжики и все засолы
За день горячий и веселый,
Когда гудят над лугом пчелы,
Сбирая меда благодать.

Но не допустит беззаконий
Упрямый дедушка Сампсоний!
Все шесть недель кропит дождем
(Права на то имея свыше),
Бубнит, бубнит, долбит по крыше,
А мы погоды ждем и ждем.

А вечерами на деревне
Старухи, сидя на бревне,
Приметою страшат древней:
Грибное лето — быть войне.

Август 1940. Заречье

* * *

Памяти внука Алеши

Упадут перегородочки,
Свет забрезжится впотьмах.
Уплывет он в узкой лодочке,
С медным крестиком в руках.

Будет все как полагается, —
Здесь, на холмике сыром,
Может, кто-то разрыдается,
Кто-то вспомнит о былом.

И вернутся все трамваями
В мир привычной суеты.
Так умерших забываем мы.
Так его забудешь ты?

Январь 1941

* * *

Я твое не трону логово,
Не оскаливай клыки.
От тебя ждала я многого,
Но не поднятой руки.

Эта ненависть звериная,
Из каких она берлог?
Не тебе ль растила сына я?
Как забыть ты это мог?

В дни, когда над пепелищами
Только ветер закружит,
В дни, когда мы станем нищими,
Как возмездие велит,

Вспомню дом твой, за калиткою
Волчьей ненависти взгляд,
Чтобы стало смертной пыткой
Оглянуться мне назад!

⟨1941⟩

* * *

Памяти Марины Цветаевой

Писем связка, стихи да сухие цветы —
Вот и все, что наследуют внуки.
Вот и все, что оставила, гордая, ты
После бурь вдохновенья и муки.

А ведь жизнь на заре, как густое вино,
Закипала языческой пеной!
И луна, и жасмины врывались в окно
С легкокрылой мазуркой Шопена.

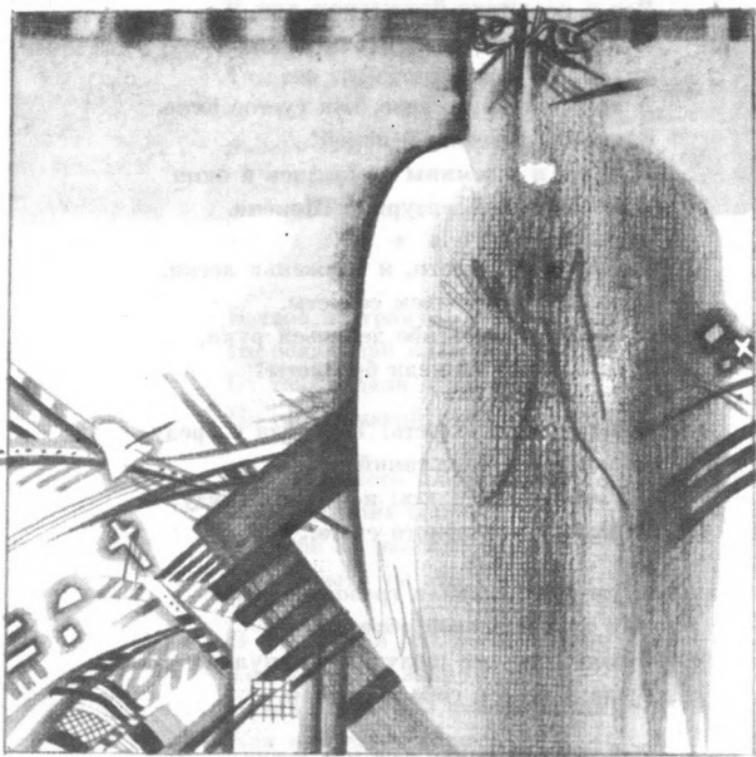
Были быстры шаги, и движенья легки,
И слова нетерпеньем согреты.
И сверкали на сгибе девичьей руки,
По-цыгански звенели браслеты!

О, надменная юность! Ты зрела в бреду
Колдовских бормотаний поэта.
Ты стихами клялась: исповедую, жду! —
И ждала незакатного света.

А уж тучи свивали грозový венок
Над твоей головой обреченной.
Жизнь, как пес шелудивый, скулила у ног,
Выла в небо о гибели черной.

И Елабугой кончилась эта земля,
Что бескрайние дали простерла,
И все та же российская сжала петля
Сладкозвучной поэзии горло.

1941





*Сыну моему Мите
посвящаю*

В ОСАДЕ (1941—1943)

* * *

**Недоброй славы не бегу.
Пускай порочит тот, кто хочет,
И смерть на невском берегу
Напрасно карты мне пророчат.**

**Я не покину город мой,
Венчанный трауром и славой,
Здесь каждый камень мостовой —
Свидетель жизни величавой,**

**Здесь каждый памятник воспет
Стихом пророческим поэта,
Здесь Пушкина и Фальконета
Вдвойне бессмертен силуэт.**

**О память! Верным ты верна.
Твой водоем на дне колышет
Знамена, лица, имена, —
И мрамор жив, и бронза дышит.**

**И променять за бытие,
За тишину в глуши бесславной**

Тебя, наследие мое,
Мой город великодержавный?

Нет! Это значило б предать
Себя на вечное сиротство,
За чечевицы горсть отдать
Отцовской крови первородство.

1941

ОТЪЕЗД

I

Паровозик свистнул тощий,
И махнул платок — прости!
Чем старее мы, тем проще
Нам и эту боль снести.

Только с сердцем сладить надо,
Крепко сжать его в комок.
Так. Прощай, моя отрада.
Добрый путь тебе, сынок.

II

А писем нет. И мы уж перестали
Ждать дня, который вместе проведем.
Дрожит на люстре и звенит хрусталик,
Зенитки бухают и сотрясают дом.

А за окном ханжой сирена воеет,
О гибели, проклятая, скулит.
Беспечность ли, желанье ли покоя
Мне в эту гибель верить не велит?

Пишу стихи, и к смерти не готова
Я в эти дни. А ты? Ты к ней готов?
Открытку с фронта, два бы только слова,
Хотя бы молнию, что жив ты и здоров!

1941

* * *

А беженцы на самолетах
Взлетают в небо, как грачи.
Актеры в тысячных енотах,
Лауреаты и врачи.

Директор фабрики ударной,
Завтрестом, мудрый плановик,
Орденосец легендарный
И просто мелкий большевик.

Все как один стремятся в небо,
В уют заоблачных кают.
Из Вологды писали: «Хлеба,
Представьте, куры не клюют!»

Писатель чемодан каракуль
В багаж заботливо сдает.
А на жене такой каракуль,
Что прокормить их может с год.

Летят. Куда? В какие дали?
И остановятся на чем?

Из Куйбышева нам писали —
Жизнь бьет по-прежнему ключом.

Ну что ж, товарищи, летите!
А град Петра и в этот раз,
Хотите ль вы, иль не хотите,
Он обойдется и без нас!

Лишь промотавшиеся тресты
В забитых наглухо домах
Грустят о завах, как невесты
О вероломных женихах.

1941

* * *

Привяжи к саням ведро,
И поедем за водой.
За мостом крутая горка, —
Осторожней с горки той!

Эту прорубь каждый знает
На канале крепостном.
Впереди народ шагает,
Позади звенит ведром.

Опустить на дно веревку,
Лечь ничком на голый лед, —
Видно, децову сноровку
Не забыл еще народ!

Как ледышки рукавички,
Не согнуть их нипочем.
Коромысло с непривычки
Плещет воду за плечом.

Кружит вьюга над Невой,
В белых перьях, в серебре...
Двести лет назад с водою
Было так же при Петре.

Но в пути многовековом
Снова жизнь меняет шаг,
И над крепостью Петровой
Плещет в небе новый флаг.

Не фрегаты, а литые
Вмерзли в берег крейсера, —
И не снилися такие
В мореходных снах Петра.

И не снилось, чтобы в тучах
Шмель над городом кружил
И с гудением могучим
Невский берег сторожил.

Да! Петру была б загадка:
Лязг и грохот, танка ход,
И за танком — ленинградка,
Что с винтовкою идет.

Ну, а мы с тобой ведерко
По-петровски доведем.
Осторожней! Видишь — горка.
Мы и горку обогнем.

20 декабря 1941

В КУХНЕ

I

В кухне жить обледенелой,
Вспоминать свои грехи
И рукой окоченелой
По ночам писать стихи.

Утром — снова суматоха.
Умудри меня, Господь,
Топором владея плохо,
Три полена расколоть!

Не тому меня учили
В этой жизни, вот беда!
Не туда переключили
Силу в юные года.

Печь дымится, еле греет,
В кухне копоть, как в аду.
Трубочистов нет — болеют,
С ног валяются на ходу.

Но нехитрую науку
Кто из нас не превозмог?
В дымоход засунув руку,
Выгребаю черный мох.

А потом иду за хлебом,
Становлюсь в привычный хвост.
В темноте сереет небо,
И рассвет угрюм и прост.

С черным занавесом сходна,
Вверх взлетает ночи тень,

Обнажая день холодный
И голодный — новый день.

Но с младенческим упорством
И с такой же волей жить
Выхожу в единоборство —
День грядущий заслужить.

У судьбы готова красть я, —
Да простит она меня. —
Граммы жизни, граммы счастья,
Граммы хлеба и огня!

II

В кухне крыса пляшет с голоду,
В темноте гремит кастрюлями.
Не спугнуть ее ни холодом,
Ни холерою, ни пулями.

Что беснуешься ты, старая?
Здесь и корки не доищешься,
Здесь давно уж злою карою,
Сновиденьем стала пища вся.

Иль со мною подружилась ты
И в промерзшем этом здании
Ждешь спасения, как милости,
Там, где теплится дыхание?

Поздно, друг мой, догадалась я!
И верна и невиновна ты.
Только двое нас осталось —
Сторожить пустые комнаты.

III

Рембрандта полумрак
У тлеющей печурки.
Голодных крыс гопак, —
Взлетающие шкурки.

Узорец ледяной
На стеклах уцелевших,
И силуэт сквозной
Людей, давно не евших.

У печки разговор,
Возвышенный, конечно,
О том, что время — вор,
И все недолговечно.

О том, что неспроста
Разгневали судьбу мы,
Что родина — свята,
А все мы — вольнодумы.

Что трудно хоронить,
А умереть — не трудно...
Прервав беседы нить,
Сирена стала выть
Истошно так и нудно.

Тогда брусничный чай
Разлили по стаканам,
И стала горяча
Кишечная нирвана.

Затихнул разговор,
Сирена выла глуше...
А время, старый вор,
Глядя на нас в упор,
Обкрадывало души.

НОЧЬЮ НА КРЫШЕ

В небе авиаигрушки,
Ни покоя им, ни сна.
Ночь в прожекторах ясна.
Поэтической старушкой
Бродит по небу луна.

И кого она смущает?
Кто вздыхает ей вослед?
Тесно в небе. Каждый знает,
Что покоя в небе нет.
Истребитель пролетает,
Проклиная лунный свет.

До луны ли в самом деле,
Если летчику глаза
И внимание в обстреле
От живой отводит цели
Лунной влаги бириюза?

Что же бродишь, как бывало,
И качаешь опахало
Старых бредней над землей?
Чаровница, ты устала,
Ты помехой в небе стала, —
Не пора ли на покой?

1942

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА

I

Связисты накалили печку,
Не пожалели дров.
Дежурю ночь. Не надо свечку,
Светло от угольков.

О хлебе думать надоело.
К тому же нет его.
Все меньше сил, все легче тело.
Но это ничего.

Забуду все с хорошей книгой,
Пусть за окном пальба.
Беснуйся, дом снарядом двигай, —
Не встану, так слаба.

Пьяна от книжного наркоза,
От выдуманных чувств...
Есть все же милосердья слезы,
И мир еще — не пуст!

II

На крыше пост. Гашу фонарь.
О. эти розовые ночи!
Я белые любила встарь, —
Страшнее эти и короче.

В кольце пожаров расцвела
Их угрожающая алость.

В ней все сгорит, сгорит дотла
Все, что от прошлого осталось.

Но ты, бессонница моя,
Без содрогания и риска
Глядишь в огонь небытия,
Подстерегающий так близко.

Завороженная, глядишь
На запад, в зарево Кронштадта,
На тени куполов и крыш...
Какая глушь! Какая тишь!
Да был ли город здесь когда-то?

III

После ночи дежурства такая усталость.
Что не радует даже тревоги отбой.
На рассвете домой возвращалась, шаталась,
За метелью не видя ни зги пред собой.

И хоть утро во тьме уже ртутью сквозило,
Город спал еще, кутаясь в зимнюю муть.
Одиночества час. Почему-то знобило,
И хотелось согреться, хотелось уснуть.

Дома чайник вскипал на железной времянке,
Уцелевшие окна потели теплом,
Я стелила постель себе на оттоманке,
Положив к изголовью Диккенса том.

О, блаженство покоя! Что может быть слаще
И дороже тебя? Да святится тот час,
Когда город наш, между тревогами спящий,
Тишиной утешает недолгою нас.

* * *

Смерти злой бубенец
Зазвенел у двери.
Неужели конец?
Не хочу. Не верю!

Сложат, пятки вперед,
К санкам привяжут.
— Всем придет свой черед, —
Прохожие скажут.

Не легко проволочь
По льду, по ухабам.
Рыть совсем уж невмочь
От голода слабым.

Отдохни, мой сынок,
Сядь на холмик с лопатой,
Съешь мой смертный паек,
За два дня вперед взятый.

Февраль 1942

* * *

На стене объявление: «Срочно!
На продукты меняю фасонный гроб.
Размер ходовой.
Об условиях точно —
Гулярная, девять». Наморщил лоб
Гражданин в ушанке оленьей,
Протер на морозе пенсне,
Вынул блокнот, списал объявление,
Отметил: «Справиться о цене».

**А баба, сама страшнее смерти,
На ходу разворчалась:
«Ишь, горе великое!
Фасо-о-онный еще им, сытые черти.
На фанере ужо сволокут, погоди-ка».**

1942

*** * ***

**С детства трусихой была,
С детства поднять не могла
Веки бессонные Вию.
В сказках накопленный хлам
Страх сторожил по углам,
Шорохи слушал ночные.**

**Крался ко мне вурдалак,
Сердце сжимала в кулак
Лапка выжиги сухая.
И, как тарантул, впотьмах,
Хиздрик вбегал на руках,
Хилые ноги вздымая.**

**А домовой? А Кощей?
Мало ль на свете вещей,
Кровь леденящих до дрожи?
Мало ль загробных гонцов,
Духов, чертей, мертвецов
С окаменевшею кожей?**

**Мало ль бессонных ночей
В бреднях, смолы горячей,
Попусту перегорало?
Ныне пришли времена, —
Жизнь по-простому страшна,
Я же бесстрашною стала.**

И не во сне — наяву
С крысою в кухне живу,
В обледенелой пустыне.
Смерти пронесется вой,
Рвется снаряд за стеной, —
Сердце не дрогнет, не стынет.

Если на труп у дверей
Лестницы черной моей
Я в темноте спотыкаюсь, —
Где же тут страх, посуды?
Руки сложить на груди
К мертвому я наклоняюсь.

Спросишь: откуда такой
Каменно-твердый покой?

Что же нас так закалило?
Знаю. Об этом молчу.
Встали плечом мы к плечу —
Вот он, покой наш и сила!

1942

НА УЛИЦЕ

I

Иду в темноте, вдоль воронок.
Прожекторы щупают небо.
Прохожие. Плачет ребенок
И просит у матери хлеба.

А мать надорвалась от ноши
И вязнет в сугробах и ямах.

— Не плачь, потерпи, мой хороший,
И что-то бормочет о граммах.

Их лиц я во мраке не вижу,
Подслушала горе вслепую,
Но к сердцу придвинулась ближе
Осада, в которой живу я.

II

На салазках, кокон пряменький
Спеленав, везет
Мать заплаканная, в валенках,
А метель метет.

Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей, вот тоже, дочери
Схоронен вчерась.

Бог прибрал, и, слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду
С этих со ста грамм».

Труден путь, далек до кладбища,
Как с могилой быть?
Довезти сама смогла б еще, —
Сможет ли зарыть?

А не сможет — сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.

И спешат по снегу валенки, —
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче умереть.

III

Шаркнул выстрел. И дрожь по коже,
Точно кнут обжег.
И смеется в лицо прохожий:
«Получай паек!»

За девицей с тугим портфелем
Старичок по панели
Еле-еле
Бредет.

«Мы на прошлой неделе
Мурку съели,
А теперь — этот вот...»
Шевелится в портфеле
И зловеще мяукает кот.

Под ногами хрустят
На снегу оконные стекла.
Бабы мрачно, в ряд
У пустого ларька стоят.
«Что дают?» — «Говорят,
Иждивенцам и детям — свекла».

IV

Обледенелая дорожка
Посередине мостовой.
Свернешь в сторонку хоть немножко —
В сугробы ухнешь с головой.

Туда, где в снеговых подушках
Зимует пленником пурги
Троллейбус, пестрый, как игрушка,
Как домик бабушки Яги.

В серебряном обледененье
Его стекло и стенок дуб.
Ничком на кожаном сиденье
Лежит давно замерзший труп.

А рядом, волоча салазки,
Заехав в этукую даль,
Прохожий косится с опаской
На быта мрачную деталь.

V

За спиной свистит шрапнель.
Каждый кончик нерва взвинчен.
Бабий голос сквозь метель:
«А у Льва Толстого нынче
Выдавали мервишель!»

Мервишель? У Льва Толстого?
Снится, что ли, этот бред?
Заметает вьюга след.
Ни фонарика живого,
Ни звезды на небе нет.

VI

Как привиденья незаконные,
Дома зияют безоконные
На снежных площадях.

И, запевая смертной птичкою,
Сирена с ветром перекличкою
Братаются впотьмах.

Вдали, над крепостью Петровою,
Прожектор молнию диловую
То гасит, то зажжет.
А выше — звездочка булавкою
Над Зимней светится канавкою
И город стережет.

VII

Идут по улице дружинницы
В противогазах, и у хобота
У каждой, как у именинницы,
Сирени веточка приколота.

Весна. Война. Все согласовано.
И нет ни в чем противоречия.
А я стою, гляжу взволнованно
На облики нечеловечии.

VIII

Вдоль проспекта — по сухой канавке
Ни к селу ни к городу цветы.
Рядом с богородицыной травкой
Огоньки куриной слепоты.

Понимаю, что июль в разгаре
И что полдень жатвы недалек,

Если даже здесь, на тротуаре,
Каблуком раздавлен василек.

Понимаю, что в блокаде лето,
И как чудо, здесь, на мостовой,
Каменноостровского букета
Я вдыхаю запах полевой.

1942

* * *

Майский жук прямо в книгу с разлета упал,
На страницу раскрытую — «Домби и сын».
Пожужжал и по-мертвому лапки поджал.
О каком одиночестве Диккенс писал?
Человек никогда не бывает один.

1942(?) 1943(?)

* * *

Раны лечат только временем,
Срок не далеко.
Даже смерть простым забвением
Залечить легко.

Будет день — на небо ясное
Тишина взойдет.
Из-за облака фугасная
К нам не упадет.

Будет день — в прихожей маленькой
Будет толчея.
Я стяну с внучонка валенки.
Вот она — семья!

Затопочут ножки быстрые
В комнату мою.
Я до той минуты выстою,
Клятву в том даю.

Если ж нет... Сотрется временем,
Станет — далеко.
Даже смерть простым забвением
Залечить легко.

* * *

Этот год нас омыл, как седьмая щелочь,
О которой мы, помнишь, когда-то читали?
Оттого нас и радует каждая мелочь,
Оттого и моложе как будто бы стали.

Научились ценить все, что буднями было:
Этой лампы рабочей лимит и отраду,
Эту горку углей, что в печи не остыла,
Этот ломтик нечаянного шоколаду.

Дни «тревог», отвоеванные у смерти,
Телефонный звонок — целы ль стекла? Жива ли?
Из Елабуги твой самодельный конвертик, —
Этих радостей прежде мы не замечали.

Будет время, мы станем опять богаче,
И разборчивей станем и прихотливей,

**И на многое будем смотреть иначе,
Но не будем, наверно, не будем счастливей!**

**Ведь его не понять, это счастье, не взвесить!
Почему оно бодрствует с нами в тревогах?
Почему ему любо цвести и кудесить
Под ногами у смерти, на взрытых дорогах?**

1942

ЧИТАЯ ДИККЕНСА

**Никнет, дрожит фитилек,
Копоти больше, чем света.
Но ни один огонек
Не был дороже, чем этот.**

**Диккенс забытый. Добром
Дышит бессмертным страница.
И сострадания бром
С повестью в сердце струится.**

**Тьма за окном, как в аду.
Что эта тьма затаила?
Чую, с добром не в ладу
Ночи нечистая сила.**

**Слышу, взрывается мрак,
Бьет пулемет под сурдинку.
Снова проклятый маньяк
Смерти заводит волынку.**

**Что ему светлая ширь
Дум, милосердье любви?**

Крови возжаждал, упырь,
Уничтоженья и крови!

Никнет, дрожит фитилек,
Словно на тоненьком стебле
Сел золотой мотылек,
Ветра дыханьем колеблем.

Но, принямая из рук
В руки его, как лампаду,
Мы пронесем его, друг,
Через войну и блокаду.

1942

НОВОГОДНИЙ ТОСТ

М. Н. Филипповой

Машенька! Нам город не прощает
Слез и жалоб, расточенных зря.
Дела много. Больше, чем вмещает
Зимний день короткий декабря.

Этот день мы вытянем, как жребий,
Стойкие в удачах и в беде,
И не будем говорить о хлебе,
И не будем думать о еде.

Мы с тобою не герои. Люди
Фронта мы каленые сердца.
Нам понятен разговор орудий,
Ясен довод пули и свинца.

Иногда и похандрить придется,
Повстречать бессонницей зарю.
С орденом Никола твой вернется,
В сотый раз тебе я говорю!

Машенька, давай не подкачаем,
Вахту ленинградскую держи!
Сорок третий мы вдвоем встречаем.
Нет вина, что ж — чокнемся и чаем,
Каждым часом дружбы дорожи!

Декабрь 1942

* * *

Если птица залетит в окно,
Это к смерти, — люди говорят.
Не пугай приметой. Все равно
Раньше птиц к нам пули залетят.

Но сегодня, — солнце ли, весна ль, —
Прямо с неба в комнату нырнул
Красногрудый, стукнулся в рояль,
Заметался и на шкаф порхнул.

Снегирек, наверно, молодой!
Еле жив от страха сам, небось.
Ты ко мне со смертью иль с бедой
Залетел, непрошенный мой гость?

За диван забился в уголок.
Все равно! — к добру ли, не к добру,
Трепетанья птичьего комок,
Жизни дрожь в ладони я беру,

Подношу к раскрытому окну,
Разжимаю руки. Не летишь?
Все еще не веришь в глубину?
Вот она! Лети, лети, глупыш,

Смерти вестник, мой недолгий гость!
Ты нисколько не похож на ту,
Что влетает в комнаты, как злость,
Со змеиным свистом на лету.

1943

* * *

(Сыну)

Ты пишешь письма, ты зовешь,
Ты к жизни сытой просишь в гости.
Ты прав по-своему. Ну что ж!
И я права в своем упорстве.

Мне это время по плечу, —
Не думай, что изнемогаю.
За битвой с песнею лечу
И в ногу с голодом шагаю.

И если надо выбирать
Судьбу — не обольщусь другою.
Утешусь гордою мечтою —
За этот город умирать!

ВЕСНА 1943 ГОДА

Наперекор событиям — живу
И радуюсь апрельской непогоде.
Гляжу с моста на бурную Неву —
Свистит и суетится пароходик,

И манит к странствиям весенняя вода,
И дует ветер корабельный.
А плыть куда? В какие города?
Когда доплыть нельзя нам и до Стрельны.

Блокада! Вот оно, проклятое кольцо,
Невы свободной тяжкое удушье,
И запах гари с берега, в лицо,
И облаков весенних равнодушие.

Нет! Мимо, мимо пролетай, апрель!
Еще ты мне не сверстник, не попутчик.
Закалена и выстрадана цель,
Мне от нее не отвлекаться лучше!

* * *

Свидание наедине
Назначил и мне командор.
Он в полночь стучится ко мне
И входит, и смотрит в упор.
Но странный на сердце покой.
Три пальца сложила я в горсть.
Разжать их железной рукой
Попробуй, мой Каменный Гость.

1943

* * *

Лето ленинградское в неволе.
Все брожу по новым пустырям,
И сухой репейник на подоле
Приношу я в сумерках к дверям,
Белой ночью все зудит комарик,
На обиды жалуется мне.
За окном шаги на тротуаре —
Кто-то возвращается к жене...

И всю ночь далекий запах гари
Не дает забыть мне о войне.

Лето 1943

СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ 6 АВГУСТА 1943-го

Рвануло воздухом,
На тротуар швырнуло.
Крик за спиной и дым.
Лежу. Военный рядом. В головах
Старуха причитает, заступницу зовет.
А девочка — молчит.

Хочу подняться —
Военный в спину ткнул:
«Куда? Лежи».
И голову портфелем мне накрыл.

И снова взрыв.
И снова тишина.
Пять раз подряд.

Мы долго так лежали.
Плита гранитная у самых глаз
И водосточный желоб.

Потом военный встал,
Сказал: «Ну, бабы, живо,
За мною все гуськом,
Налево в подворотню».

Мы вовремя перебежать успели.
Последний взрыв
Был рядом, за углом,
И влед за ним
Надолго тишина.

Военный засучил рукав
И на часы взглянул, сказал:
«Как видно, зашабашил, паразит.
Теперь бегите по домам, хозяйки.
Без паники».

Шинель оправил, подтянул ремень
И зашагал по улице к вокзалу.

* * *

Непредвиденный случай,
Иль удача моя,
Или просто живучей
Уродилась я, —

Но была не легка мне
Участь, — день изо дня,
Так вот, с камня на камень
Перепрыгивать пламень
Над пучиной огня.

Угадать направление,
Сил удвоить запас,
Чтобы ни на мгновение
Дальний берег спасенья
Не терялся из глаз.

Верить, верить со страстью
В этот берег, такой
Очевидный, что счастья
Слышать пульс под рукой...

О какой же геройской
Говоришь ты судьбе?
Это все только поиски
Троп, ведущих к тебе.

* * *

А муза не шагает в ногу, —
Как в сказке, своевольной дурочкой
Идет на похороны с дудочкой,
На свадьбе — плачет у порога.

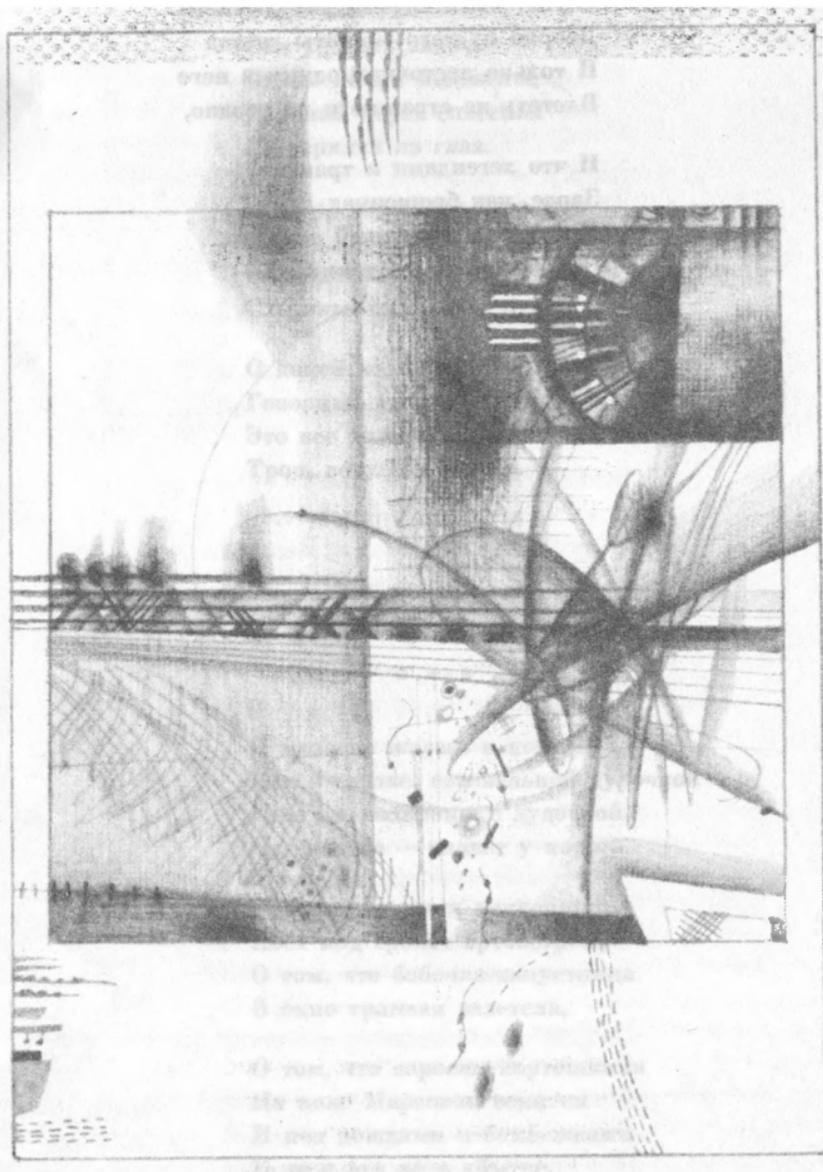
Она, на выдумки искусница,
Поет под грохот артобстрела
О том, что бабочка-капустница
В окно трамвая залетела,

О том, что заросли картошками
На поле Марсовом зенитки
И под дождями и бомбежками
И те и эти не в убытке.

**О том, что в амбразурах Зимнего
Дворца пустого — свиты гнезда
И только ласточкам одним в него
Влетать не страшно и не поздно,**

**И что легендами и травами
Зарос, как брошенная лира,
Мой город, осиянный славами,
Непобежденная Пальмира!**

1943





В ГРАНАТНОМ ПЕРЕУЛКЕ

I

В небе веточка, нависая,
Разрезает луны овал.
Эту лиственницу Хокусайя
Синей тушью нарисовал.

Здравствуй, деревце-собеседник,
Сторож девичьего окна,
Вдохновений моих наследник,
Нерассказанная весна!

В эту встречу трудно поверить,
Глажу снова шершавый ствол.
Рыбой, выброшенной на берег,
Юность бьется о мой подол...

10 октября 1943

II

Тот же месяц, изогнутый тонко,
Над московскою крышей блестит.
Та же лиственница-японка
У балконных дверей шелестит.

Но давно уж моим не зовется
Этот сад и покинутый дом.
Что же сердце так бешено бьется,
Словно ищет спасенья в былом?

Если б даже весна воскресила
Топором изувеченный сад,
Если б дней центробежная сила
Повернула движенье назад, —

В этом царстве пустых антресолей
Я следа все равно б не нашла
От девичьих моих своеволий,
Постояла — и прочь пошла!

III

Сестре

Когда-то, в юные года,
Далекою весною,
Похоронили мы дрозда
В саду, под бузиною.

И кукол усадив рядком
За столик камышовый,
Поминки справили потом
И ели клей вишневый.

А через много, много лет
Пришли с сестрой туда же
Взглянуть на сад, а сада нет,
Следа не видно даже.

Многоэтажная гора
Окон на небоскребе.
— Пойдем, — сказала мне сестра, —
Мы здесь чужие, обе.

А я стою и глухих слез
Ни от кого не прячу.
Хороший был, веселый дрозд, —
Вот почему я плачу.

* * *

Не будет этого, не будет!
И перед смертью не простит.
Обиды первой не забудет,
Как довод он ее хранит,
Как оправданье всех обид.

А, может быть, всего вернее —
На ложе смерти долго тлея,
Не вспомнит вовсе обо мне
В одной мучительной заботе
Еще спасти остаток плоти,
Еще держаться на волне.

Но знаю, что пути сомкнутся,
И нам не обойти судьбу:
Дано мне будет прикоснуться
Губами к ледяному лбу...

1944

* * *

Давность ли тысячелетий,
Давность ли жизни одной
Призваны запечатлеть им.
Все засосет глубиной,
Все зацветет тишиной.

Все сохранится, что было.
Прошлого мир недвижим.
Сколько бы жизнь ни мудрила,
Смерть мне тебя возвратила
Вновь молодым и моим.

〈1945—1946〉

ПАМЯТИ А. Н. ТОЛСТОГО

I

...И снится мне хутор за Волгой,
Киргизская степь, ковыли,
Протяжно рыдая и долго,
Над степью летят журавли.

И мальчик глядит босоногий
Вослед им и машет рукой:
— Летите, счастливой дороги!
Ищите весну за рекой!

И только по сердцебиенью,
По странной печали во сне
Я вдруг понимаю значенье
Того, что приснилось мне.

Твое это детство степное,
Твои журавли с высоты
Рыдают, летя за весной,
И мальчик босой — это ты.

II

Я вспоминаю берег Трои,
Пустынные солончаки,
Где прах гомеровских героев
Размыли волны и пески.

Замедлив ход, плывем сторонкой,
Дивясь безмолвию земли.
Здесь только ветер вьет воронки
В сухой кладбищенской пыли,

Да в небе коршуны степные
Кружат, сменяясь на лету,
Как в карауле часовые
У древней славы на посту.

Пески, пески — конца им нету.
Мы взглядом провожаем их
И, чтобы вспомнить землю эту,
Гомера вспоминаем стих.

Но все сбивается гекзаметр
На пароходный ритм винтов...
Бинокль туманится — слезами ль?
Дымком ли с дальних берегов?

Ты говоришь: «Мертва Эллада,
И все ж не может умереть...»
И странно мне с тобою рядом
В пустыню времени смотреть,

Туда, где снова Дарданеллы
Выводят нас на древний путь,
Где Одиссея парус белый
Волны пересекает грудь.

III

Я желтый мак на стол рабочий
В тот день поставила ему.
Сказал: «А знаешь, между прочим,
Цветы вниманью моему
Собраться помогают очень».
И поворачивал букет,
На огоньки прищурясь мака.
В окно мансарды, на паркет
Плыл Сены отраженный свет,
Павлин кричал в саду Бальзака.
И дня рабочего покой,
И милый труд оберегая,
Сидела рядом я с иглой,
Благоговевя и мечтая
Над незаконченной канвой.

Далекий этот день в Пасси
Ты, память, бережно носи.

IV

Взлетая на простор покатый,
На дюн песчаную дугу,
Рвал ветер вереск лиловатый
На океанском берегу.

Мы слушали, как гул и грохот
Неудержимо нарастал.
Океанид подводный хохот
Нам разговаривать мешал.

И чтобы так или иначе
О самом главном досказать,
Пришлось мне на песке горячем
Одно лишь слово написать.

И пусть его волной и пеной
Через минуту смыл прилив, —
Оно осталось неизменно,
На лаве памяти застыв.

V

Ты был мне посохом цветущим,
Мой луч, мой хмель.
И без тебя у дней бегущих
Померкла цель.

Куда спешат они, друг с другом
Разрозненные?
Гляжу на жизнь свою с испугом
Со стороны.

Мне смутен шум ее и долог,
Как сон в бреде.
А ночь зовет за темный полог:
— Идешь? — Иду.

VI

Торжественна и тяжела
Плита, придавившая плоско
Могилу твою, а была
Обещана сердцу березка.

К ней, к вечно зеленой вдали
Шли в ногу мы долго и дружно, —
Ты помнишь? И вот — не дошли.
Но плакать об этом не нужно.

Ведь жизнь мудрена, и труды
Предвижу немалые внукам:
Распутать и наши следы
В хождениях вечных по мукам.

VII

Мне все привычней вдовий жребий,
Все меньше тяготит плечо.
Горит звезда высоко в небе
Заупокойною свечой.

И долгий мир с его огнями
Тускнеет пред ее огнем.
А расстояние между нами
Короче, друг мой, с каждым днем.

VIII

Длинной дорогою жизнь подводила
К э т о м у страшному дню.
Все, что томилось, металось, грешило,
Все предается огню.

Нет и не будет виновных отныне.
Даруй прощенья и мне.
Даруй смиренья моей гордыне
И очищенья в огне.

1945—1946

* * *

Себе

На рассвете сон двойтся,
Холодок какой-то снится,
И сквозь сон из тишины
Нарастает гул струны.

Странный сон, сквозной и хрупкий,
Сон, готовый на уступки...
Жизнь висит на волоске,
Бьется жилкой на виске.

Я хочу сквозь сон пробиться,
Закричать, перекреститься,
Страх осмыслить наяву,
Убедиться, что живу!

И, проснувшись, долго, странно,
На квадрат окна туманный
И на бледную зарю,
Как воскресшая, смотрю.

16 декабря 1947

(СТИХОТВОРЕНИЕ
БЕЗ ЭПИТЕТОВ)

Т. Б. Лозинской

Клонятся травы ко сну,
Стелется в поле дымок,
Ветер качает сосну
На перекрестке дорог.

Ворон летит в темноту,
Еле колышет крылом —
Дремлет уже на лету...
Где же ночлег мой и дом?

Буду идти до утра,
Ноги привыкли идти.
Ни огонька, ни костра
Нет у меня на пути.

1948

* * *

Внучке Наташе Толстой

Вот карточка. На ней мне — десять лет.
Глаза сердитые, висок подперт рукою.
Когда-то находили, что портрет
Похож, что я была действительно такою.

Жар-птицей детство отлетело вдаль,
И было ль детство? Или только сказка
Прочитана о детстве? И жила ль
На свете девочка, вот эта сероглазка?

Но есть свидетельство. И не солжет оно.
Ему, живому, сердце доверяет:
Мне трогательно видеть и смешно,
Как внучка в точности мой облик повторяет.

9 декабря 1948

* * *

Внучке Леле Толстой

Имя твое — как колокольчик:
Лёль, Лёль, Лёль!
Ты не цветок, только бутончик.
Чуть лепестков зарумянился кончик, —
Розой раскрыться тебе суждено ль?
Имя твое — как колокольчик:
Лёль, Лёль, Лёль...

Июль 1949

ИЗ МАЛЛАРМЕ

Бескрыла плоть. Увы! Все книги прочтены.
Гляжу на птиц — просторами пьяны,
Над пеною морей они пронзают небо.
Туда, за ними вслеп! Туда и мне бы!

Нет! Не смирит мой дух, не утолит дерзанье
Ни липы за окном сладчайшее дыханье,
Ни лампа полночи, в свету которой чист,
Ждет вдохновения бумаги белый лист,
Ни мать, что воркованьем голубиным
В соседней комнате укачивает сына.



Земли очарования, простите!
Уже взмахнул платок, сигнал отплытий.
В чужие гавани, к причалам новых стран
Корабль от берегов уносит океан.
Валов навстречу грозное кипенье.
Я узнаю вас, вестники крушенья!

Но в скрипе мачт, и в заклинаньях бури,
И в блеске ослепительном лазури
За молнией, рассекающей хаос дымный, —
Я слышу мореплавателей гимны!

1953

* * *

Он придет ко мне, самый страшный час,
Он, быть может, не так уж и страшен.
Вздрогнет пульс, еле слышно, в последний раз,
И заглохнет, навеки погашен.

Что ж! Представить могу, что не буду дышать,
Грудь прикрыв ледяными руками.
Что придут изголовье мое украшать
Обреченными тленью цветами.

И что «Вечную память», в который уж раз,
Возгласит панихидное пенье,
Что оно сыновьям утешенья не даст, —
Да и надо ли им утешенье?

Но понять не могу, не могу, не могу,
Как — незрим, невесом, бестелесен —
Он остынет со мной на могильном снегу,
Тайный жар вдохновений и песен!

1938—1953

ОТРЫВОК

Из Эмерсона

О Вакх! Воспоминаний чашу мне налей!
Старее нет вина и нет хмельней.
Хмель памяти, глоток печали и огня,
Верни, верни мне самого меня!

Верни мне прошлое. Отмерь и отчекань
За днем ушедший день, за гранью грань.
А если вспять не может время течь,
Ему вином, о Вакх, противоречь!

Пусть, вне закона поступая, хмель
Пригубит тайно памяти свирель:
Она вздохнет и время остановит,
Она поет, — оно не прекословит,

И с нею возвращается назад,
В прошедшего цветущий вертоград.
Как свеж он был, и зелен, и тенист!
Надеждой трепетал в нем каждый лист...

1953

ТРИ ЦЫГАНА

Из Ленау

Я встретил однажды трех цыган,
Сидели они под ивой.
Медленно плелся мой шарабан
По равнине тоскливой.

Старый цыган трубку курил,
Дымок провожал взглядом.
Казалось, он жизнь до конца изжил, —
Ничего ему больше не надо.

Другой по скрипке водил смычком,
Озаренный светом закатным,
И скрипка о счастье пела, о том,
Что счастье ушло безвозвратно.

А третий под деревом крепко спал,
Раскинув смуглые руки.
Ветер цимбалы на ветках качал,
Срывая со струн их звуки.

Так трижды мне дали цыгане понять,
Что, жизнью, как дымом, играя,
Можно пропеть ее, можно проспять,
Трижды ее презирая.

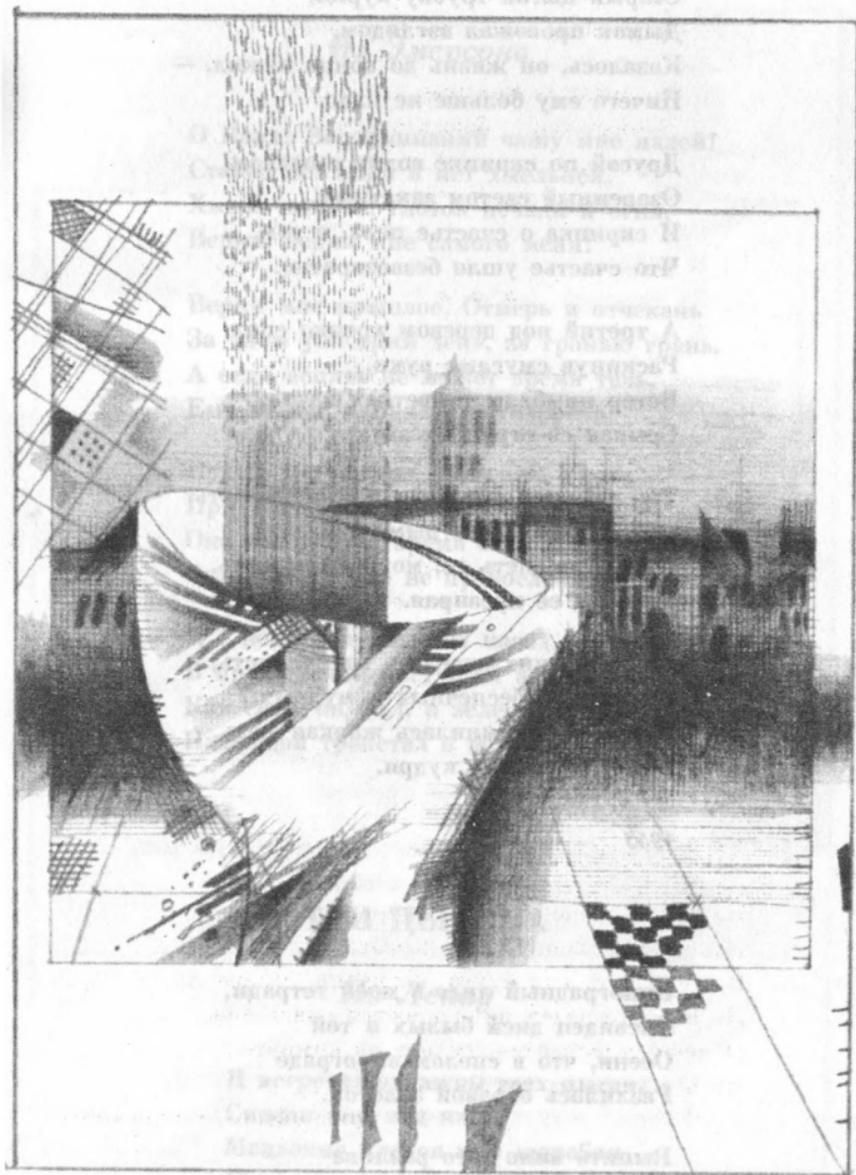
Долго на них довелось мне глядеть,
На нищих, беспечных и мудрых.
Лиц мне запомнилась жаркая медь,
Буйные, черные кудри.

1953

* * *

Виноградный лист в моей тетради,
Очевидец дней былых и той
Осени, что в спелом винограде
Разлилась отравой золотой.

Выпито вино того разлива
Уж давно. И гол, и пуст, и чист



Виноградник, где он так красиво
Пламенел, засохший этот лист.

Те стихи, в которые закладно
Вложен он, — боюсь перечитать.
Запах осени, сухой и сладкий,
Источает старая тетрадь.

1953

* * *

Видно, было предназначено
Так, что снова довелось,
Пока сердце не растрчено,
Охмелеть от диких роз,

Охмелеть от свиста птичьего
Да от запаха сосны
Возле домика лесничего,
Над излучиной Двины.

12 июня 1954.
Хутор Адамово

* * *

На грани смешного, на грани чудачества
Порой сокровеннейших помыслов качества!
Все в жизни как будто налажено, сглажено,
Но вот за предел приоткроется скважина,
И нечисть ворвется, гуляет по комнате...
Ведь с каждым так было, —
признайтесь, припомните!

1954

ЭПИТАФИЯ

Уходят люди, и приходят люди.
Три вечных слова: БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ,
Не замыкая, повторяют круг.

Венок любви, и радости, и муки
Подхватят снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.

Да будет он, и легкий, и цветущий,
Для новой жизни, нам вослед идущий,
Благоухать всей прелестью земной,

Как нам благоухал! Не бойтесь повторенья:
И смерти таинство, и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.

1954

* * *

Когда других я принимала за него,
Когда в других его, единого, искала, —
Он, в двух шагах от сердца моего,
Прошел неузнанный, и я о том — не знала!

1954

* * *

Веселый спектр солнца, буйство света,
Многоцветенье красок и огней, —
Померкло все и растворилось где-то,
В бесформенном скоплении теней.

Густеет мгла и зреет тишина, —
Все служит моему сосредоточью.
И, древнему обычаю верна,
Сова Минервы вылетает ночью.

28 февраля 1957. Ленинград

* * *

Дневник мой девичий. Записки,
Стихи, где вымысел копирует
Видения идеалистки.
А жизнь по-своему планирует,
Виденья подвергая чистке.

Но все ж... они кому-то близки.
И внучка не иронизирует,
Когда стихи мои цитирует
В своей любовной переписке.

Декабрь 1957

* * *

Разве так уж это важно,
Что по воле чьих-то сил
Ты на книге так отважно
Посвященье изменил?

Тщетны все предохраненья, —
В этой книге я жива,
Узнаю мои волненья,
Узнаю мои слова.

А тщеславья погремушки,
Что ж, бери себе назад!
Так: «Отдай мои игрушки», —
Дети в ссоре говорят.

Январь 1958

* * *

Яблоко, надкушенное Евой,
Брошенное на лужайке рая,
У корней покинутого древа
Долго пролежало, загнивая.

Звери, убоявшись Божья гнева,
Страшный плод не трогали, не ели.
Не клевали птицы и не пели
Возле кущ, где соблазнилась Ева.

И творец обиженный покинул
Сад цветущий молодого рая
И пески горячие раскинул
Вкруг него от края и до края.

Опустился зной старозаветный
И спалил цветы, деревья, кущи,
Но оставил плод едва заметный —
Яблоко, что проклял Всемогуший.

И пески тогда его накрыли...

1958

* * *

Есть в судьбах наших равновесия закон —
Учет и наших благ, и бедствий в этом мире.
Две чаши на весах уравнивает он,
Одной — убавит груз, другой — добавит гири.

Так, чашу радостей опустошив вначале,
Закона мудрого не избежишь и ты.
Прими ж без ропота противовес печалей:
Недуги старости и бремя слепоты.

23 февраля 1958

* * *

Вещи есть совсем обычные,
Незаметные, привычные, —
И не думаем о них,
Например, вот эта палочка,
Путевод и выручалочка,
Антигона всех слепых.

Мне она отныне спутница,
От любой беды заступница,
Шепчет: «Стой, не торопись.
Осторожно, помаленечку
Отыщи ногой ступенечку
И на ней не отступись!»

Я в пути твоём разведчица,
Я за каждый шаг ответчица,
Шарю, шарю впереди...
Здесь ложбина, здесь — обочина,
Здесь тропа дождем источена,
Ну а здесь — смелей иди!

24 февраля 1958







Мнобение.

Сию станицу твою
Прозвучала, и вожель,
Мертвительной воле
Еще безднотельные!

Взглядом твоим
Душа примерная,
Меня похорошит
Ночь благовонная!..

Взглядом твоим
Видом печальным,
Дрожит в море
Почувствую прощальные!

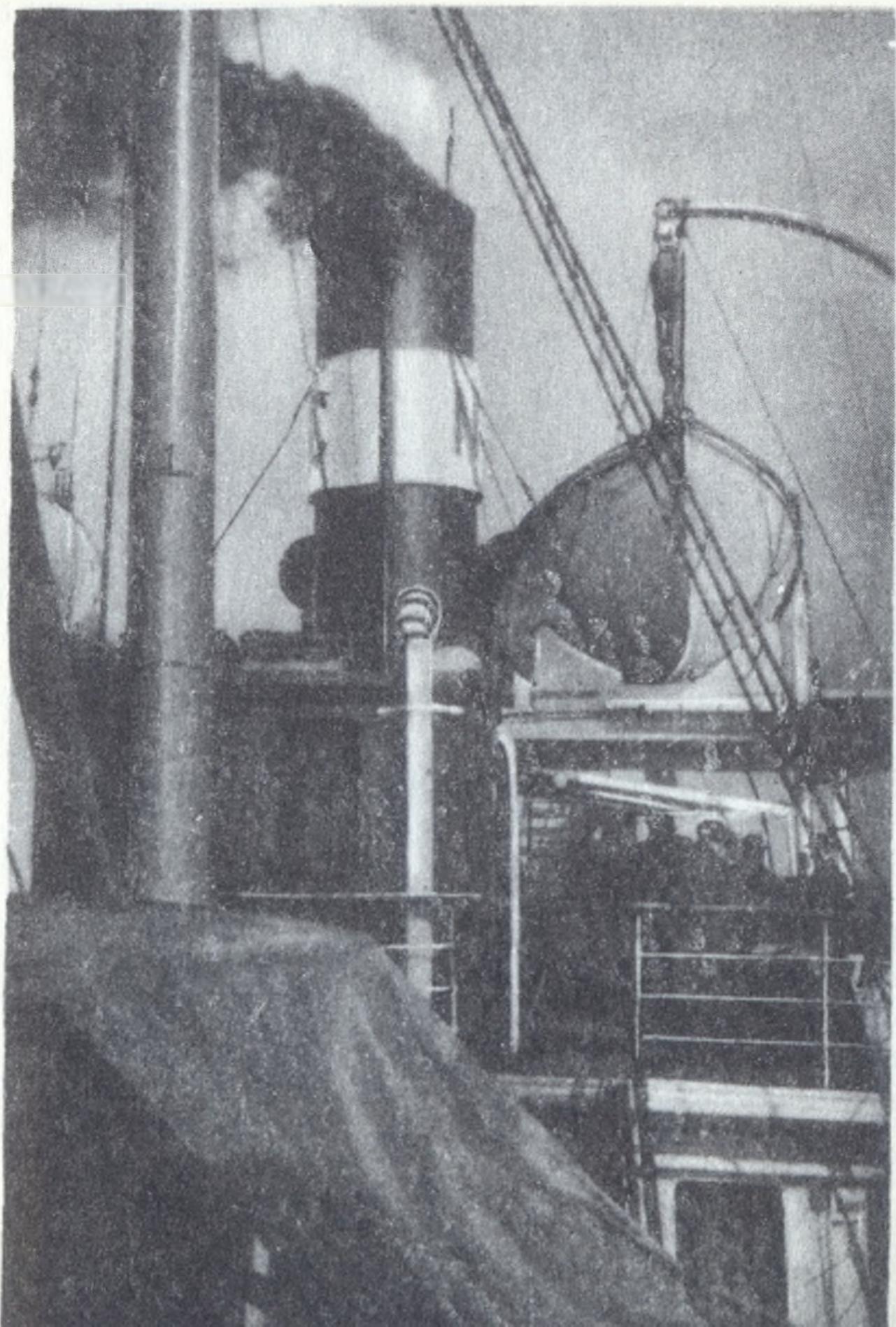
И твое безднотельное
Твоем забвении!
Забвении и вожель
Вздоха прищипления!

























* * *

Не дочитав, вслепую перелистывай
Страницы жизни, в шелест их вникай
И крестиком сирени аметистовым
На ощупь любоваться привыкай.

Во мраке глаз тогда воображенье
Повторит все с реальностью такой,
Что вздрогнешь ты и милое виденье
Проверишь осязающей рукой.

Февраль 1958

* * *

Было холодное лето
На берегу залива.
Мглой было все одето
И расплывалось красиво.

Граница вещей терялась.
С дальней сливалась передняя.
И все почему-то казалось,
Что лето это — последнее.

1958. Репино

* * *

К себе

Ты усомнилась в реальности
Того, что любовью зовется,
Ведь от любой банальности
Сердце ускоренно бьется.

Спорщица неукротимая,
Вечно ты жизнь критикуешь,
Вечно в края нелюдимые
Переселенцев вербуешь.

Жить по-людскому не нравится —
Лучше бы с облаком плыть;
Знаешь, моя красавица,
Трудно такой угодить.

Кто ты, скажи мне на милость,
Прошное разоблачи:
Птицей ли ты уродилась,
Музой ли с неба спустилась,
Света ли ищешь в ночи?
Не отвечай мне. Молчи.

Ночь на 8 июня 1958. Репино

* * *

Уходят с поля зренья
Предметы, вещи, лица,
Теней распределенье,
Их четкие границы.

Что лесом было раньше,
Зеленым стало дымом.
Но сосны-великанши
Все помнят о незримом.

Июнь 1958

* * *

И вот опять безмолвный челн
Уплыл, рыданием преследуем.
Ток жизни выключен? Не ведаем.
Быть может, ток переключен?

А на кресте венок качается.
Кругом забвение и тишь.
«Нет, этим дело не кончается», —
Ты убежденно говоришь.

И все же, недоумевая,
Ты долго медлишь у холма,
Где скрылась жизнь и где сама
Травинок поросль молодая
Непостижима для ума.

1958. Репино

* * *

Будет все, как и раньше было,
В день, когда я умру.
Ни один трамвай не изменит маршрута.
В вузах ни один не отменят зачет,
Будет время течь, как обычно течет.

Будут сыны трудиться, а внуки учиться,
И, быть может, у внуки правнук родится.

На неделе пасхальной
Яйцо поминальное
К изголовью положат с доверием,
А быть может, сочтут суеверием
И ничего не положат.
Попусту не потревожат.

Прохожий остановится, читая:
«Крандиевская-Толстая».
Это кто такая?
Старинного, должно быть, режима...
На крест покосится и пройдет себе мимо.

1958. Больница Эрисмана

* * *

Так случилось под конец,
Не могли сберечь колец.
Потерялося твое,
Я не знаю, где мое.

Так случилось, так пришлось, —
Мукой сердце извелось.
Стало каменным твое,
И обуглилось мое.

Не ропщи и не зови,
Не вернуть назад любви.
Бродит по свету моя,
Под крестом лежит твоя.

1958. Репино

МОГИЛА ЛЕТЧИКА

В терракотовый выкрашен цвет
Пропеллер из легкой жести,
А креста на могиле нет,
Но цветы и венки на месте.

Под пропеллером фотография,
Юный летчик, мальчик совсем,
И взамен любой эпитафии
Этот дважды простреленный шлем.

Обречен на дожди и на ветер
Коленкор похоронной ленты.
Обречен увядать букетик,
На пропеллер положенный кем-то.

Жизнь заботы и почести делит,
А смерть собирает в одно.
Крест простой, жестяной ли пропеллер —
Ей, бывалой, не все ли равно?

1958. Репино

* * *

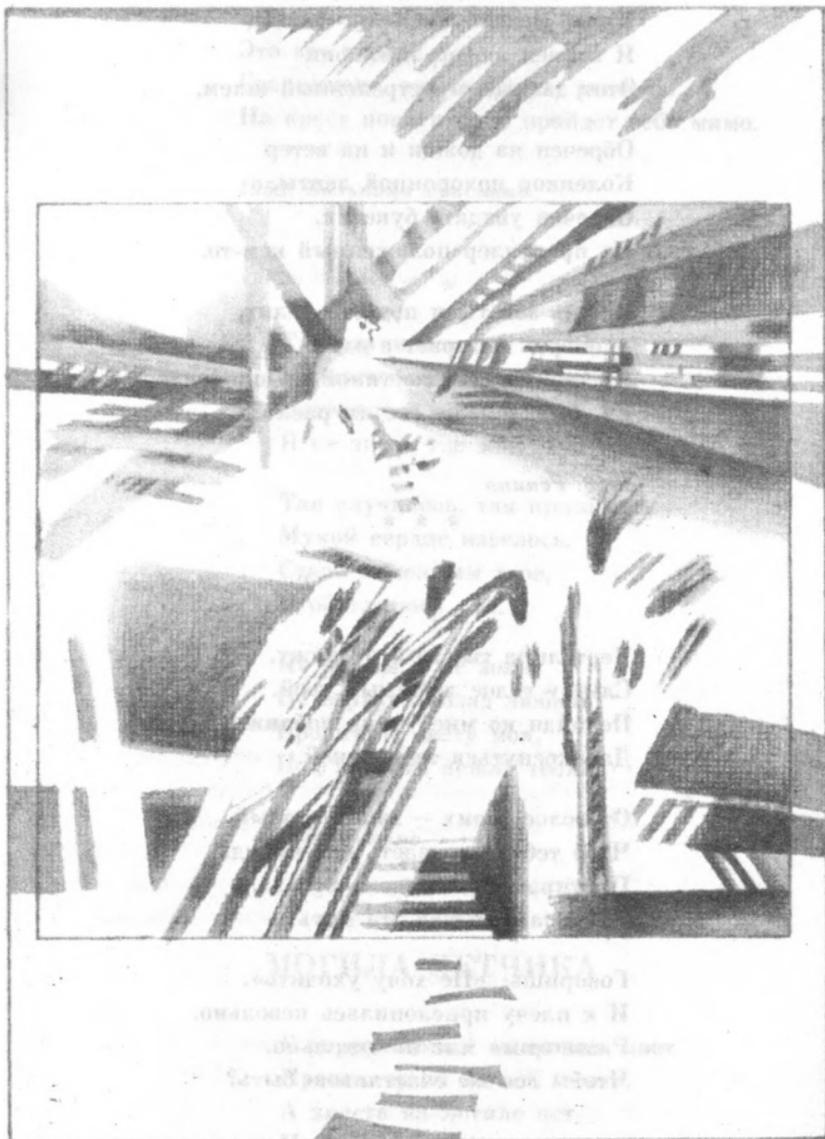
Внучке Шурочке

Черт лица твоего я не вижу,
Слышу голос любимый твой.
Подойди ко мне, стань поближе,
Дай коснуться тебя рукой.

От волос твоих — запах теплый.
Чтоб тебя разглядеть как-нибудь,
Протираю очков своих стекла...
Надоела в глазах эта муть!

Говоришь: «Не хочу уходить».
И к плечу прислонилась невольно.
Разве этого мне не довольно,
Чтобы все же счастливою быть?

1958. Репино



* * *

Я хотела бы узнать
То, что так и не узнала.
Я хотела б досказать
Все, чего не досказала.

До пустого дна допить
Чашу, что не допила я.
До таких бы дней дожить,
До каких не дожила я.

1958. Репино

ДВОЙНИКИ

Все то, что недоступно глазу,
Все тайны помыслов моих
Во сне увидела я сразу,
Как будто следуя приказу
Намеренья проверить их.

Сон недра вскрыл мой. И вот
Взлетели тени всех пород.
И ужас мне они внушили,
Так многолики тени были:
Та хороша, а та урод,
Та до величия горда,
Та до убожества смиренна,
Та скажет «нет», та скажет «да»,
И обе правы неизменно
И неуступчивы всегда.

Та всех щедрей, а та скупа,
Та всех мудрей, а та глупа,
Та всех добрей, та просто злюка...
Нет, совладать мне с вами — мука!
Чтоб различить вас — я слепа,
Чтоб в руки взять — немногорука.
Вы и враги, вы и друзья,
И тех и этих принимаю.
Вы — двойники мои, я знаю.
Быть может, вы и плоть моя,
Но, Бога ради, кто же я?

1958. Репино

* * *

Стихи — соблазн. Стихи — дурман.
Стихи — великое притворство.
Нам в дар неосторожно дан
Избыток слов для стихотворства.

Но целомудренно проста
Порою жизнь и бессловесна.
Рифмованная красота
В ее пределах неуместна.

Повелевает жизнь: молчи,
Слова ничтожны и невняты.
Внимай, о чем поют в ночи
Мои подземные ключи.
Они без слов. Они понятны.

1958. Репино

* * *

Я поняла не так давно,
Что в зеркало себя не вижу.
Чтоб разглядеть лица пятно,
Я наклоняюсь ближе, ближе.
Но черт не вижу все равно.

Быть может, зеркало — лишь средство,
Чтоб в одиночестве не быть?
Двойник мой, сверстник, спутник детства,
Участник жизни и кокетства,
Мне нелегко тебя забыть.

1958. Репино

* * *

Я с собой в дорогу дальнюю
Ничего не уношу.
Я в неделю поминальную
Поминанья не прошу.

И оставлю я на память вам
Все, чего не нажила,
Потому что в мире скаредном
Расточительной была.

И того лишь между прочими
Я наследным нареку,
Кто по дальней моей вотчине
Унаследует тоску.

1958 — 1959

* * *

Есть память глаз. Она воссоздает
Незримый мир в окраске и деталях —
И вереницы зорь в оранжевых вуалях,
И васильково-синий небосвод.

Все, все воображению подвластно,
Ему я верю больше, чем глазам,
И мир воображаемый, прекрасный
Ни мраку, ни унынию не предам.

Декабрь 1958. Репино

* * *

О. Д. Фори

Давно отмерена земного счастья доза,
Давно на привязи табун былых страстей,
Но, боже мой, как пахнет эта роза
Над койкою больничною моей!

Так пахла жизнь и сад, когда-то бывший,
Так пахла молодость, встречавшая зарю...
И женщине, цветы мне подарившей,
Движеньем губ «спасибо» говорю.

Декабрь 1958. Репино

* * *

Позабуду я не скоро
Бликов солнечную сеть.
В доме были полотеры,
Были с мамой разговоры,
Я хотела умереть.

И томил, в руке зажатый,
Нашатырный пузырек.
На паркет, на клочья ваты
Дул апрельский ветерок,
Зимним рамам вышел срок...

И печально, и приятно
Умереть в шестнадцать лет...
Сохранит он, вероятно,
Мои письма и портрет.
Будет плакать или нет?

В доме благостно и чинно;
В доме — все наоборот,
Полотеры по гостиной
Ходят задом наперед,
На степенных ликах — пот.

Где бы мне от них укрыться,
В ванной, что ли, в кладовой,
Чтобы все же отравиться?
Или с мамой помириться
И остаться мне живой?..

Декабрь 1958. Ленинград

* * *

Я во сне отца спросила:
Не тесна ль тебе могила?

Ты, меня опередивший,
Как там, что там? Расскажи!
Мир живущих с миром бывших
На минутку увяжи.

Ты молчишь недоуменно,
Ты поверх меня глядишь,
И становится мгновенно
Очень страшной эта тишь.

Декабрь 1958. Репино

* * *

Что же такое мне снилось?
Вспомнить никак не могу.
Словно плыву я, словно простилась
С чем-то на том берегу.
С чем-то единым, неповторимым
Больше нигде, никогда...

И только осталось
То, с чего начиналось:
Ветер. Туман. Вода.

Декабрь 1958. Репино

* * *

Любань, и Вишера, и Клин —
Маршрут былых дистанций...
Был счастьем перечень один
Знакомых этих станций.

Казалось — жизнь моя текла
Сама по этим шпалам,
Огнем зеленым в путь звала,
Предупреждала алым!

И сколько встреч, разлук и слез,
И сколько ожиданий!
Красноречивых сколько роз
И роковых свиданий!

Все позади, все улеглось,
В другое путь направлен,
И мчит других электровоз,
Сверхскоростью прославлен.

Но вот рассвет над Бологим
Ничуть не изменился,
Как будто времени над ним
Сам бег остановился.

Январь 1959

PERPETUUM MOBILE

Этим — жить, расти, цвести,
Этим — милый гроб нести,
До могилы провожать,
В утешенье руки жать,

И сведя со старым счет,
Повторять круговорот,
Снова жить, расти, цвести,
Снова милый гроб нести.

⟨1959⟩

НА СМЕРТЬ КУРТИЗАНКИ

Живые розы у надгробья,
Как вызов мертвой куртизанке.
Глядит любовник исподлобья
На красоты твоей останки.

Все выжато, как грозди спелые,
Все выпито до капли. Баста.
Молчат уста окаменелые,
Уста, целованные часто.

Любовь и смерть, как две соперницы,
Здесь обнялись в последней схватке.
А людям почему-то верится,
Что все, как надо, все в порядке.

Вот только розы вянут. Душно.
Да воском киселя закапана.
И кто-то шепчет равнодушно
О недостаточности клапана.

Апрель 1959

* * *

Поди попробуй придерись!
Здесь я сама себе хозяйин,
Здесь узаконен, не случаен,
Оправдан каждый мой каприз.

Словами властвую. Хочу —
В полет их к солнцу посылаю.
Хочу — верну с пути, и знаю,
Что с ними все мне по плечу.

Туда забрасываю сети,
Где заводи волшебных рыб,
Где оценить улов могли б
Одни поэты лишь да дети.

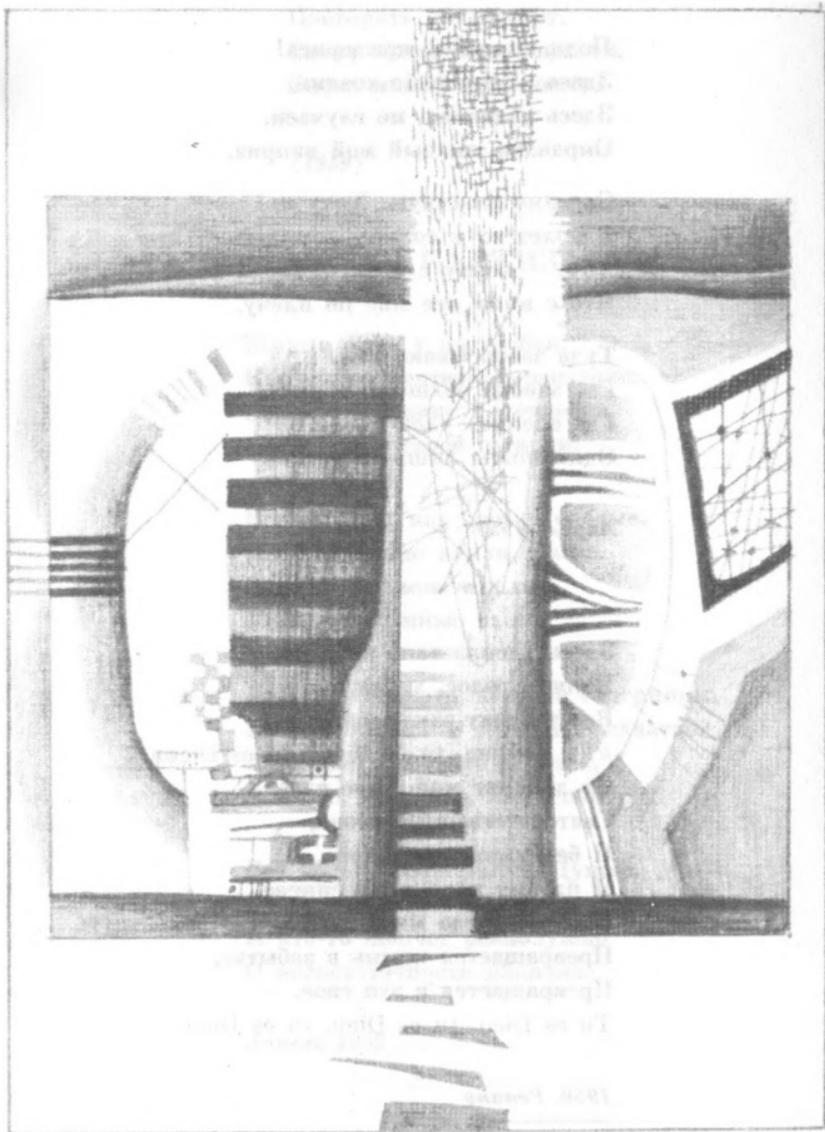
Апрель 1959

* * *

Здесь распластано тело мое.
Птичий голос, хваля бытие,
Все твердит заклинанье свое:
«Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu»*.
Но доносит мне голос едва
Святотатственные слова,
И бездумна моя голова,
И плывет надо мной синева,
И растет надо мною трава,
Превращается жизнь в забытье,
Превращается в эхо свое, —
Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.

1959. Репино

* Ты — Бог. (франц.)



* * *

Все в этом мире приблизительно:
Струится форма, меркнет свет,
Приемлю только умозрительно
И образ каждый, и предмет.

А очевидность примитивная
Давно не тешит глаз моих.
Осталась только жизнь пассивная,
Разгул фантазии да стих.

Вот с ним, должно быть, и умру я,
Строфу последнюю рифмуя.

Апрель 1959

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМУ

Лесбоса праздную лиру
Множество рук подхватило.
Но ни одна не сумела
Слух изощренный ахеян
Рокотом струн покорить.
Струны хранили ревниво
Голос владелицы первой
Любимой богами Сафо.
Вторить они не хотели
Голосу новых владельцев,
Предпочитая молчать.

⟨около 1960⟩

* * *

Стрела упала, не достигнув цели,
И захлебнулся выстрел мой осечкой.
Жила ли я? Была ли в самом деле,
Иль пребывала в праздности доселе, —
Ни черту кочергой, ни Богу свечкой,
А только бликом, только пылью звездной,
Мелькнувшей в темноте над бездной?

⟨1960⟩

* * *

Есть к стихам в голове привычка,
А рифмы всегда со мной,
Вот и эти напела мне птичка
Нынче в Кавголове, под сосной.

Вероятно, инкогнито местное,
Серогрудка какая-нибудь
Заурядная, малоизвестная
Растревожила щебетом грудь.

И не сдерживая ликования,
Славит новую эту зарю
И мое с ней сосуществование,
О котором в стихах говорю.

Лето 1959. Кавголово

* * *

Там, в двух шагах от сердца моего,
Харчевня есть — «Сиреневая ветка».
Туда прохожие заглядывают редко,
А чаще не бывает никого.

Туда я прихожу для необычных встреч.
За столик мы, два призрака, садимся,
Беззвучную ведем друг с другом речь,
Не поднимая глаз, глядим, не наглядимся.

Галлюцинация ли то, иль просто тени,
Видения, возникшие в дыму,
И жив ли ты, иль умер, — не пойму...
А за окном наркоз ночной сирени
Потворствует свиданью моему.

1 ноября 1960

* * *

Из бесформенной хляби доносится вдруг:
«Вас приветствует старый, давнишний друг.
Может, вспомните дачу на взморье под Ригой,
Вы разучивали в то лето Грига.
И особенно нравилась вам когда-то
В ми миноре стремительная соната».

Этот голос врасплох. И в ответ я молчу.
Осторожная память погасила свечу,
И на ночь стало все в этом мире похоже.
И откуда тот голос — неведомо тоже.

25 ноября 1960

* * *

Затворницею, розой белоснежной
Она цветет у сердца моего,
Она мне друг, взыскательный и нежный,
Она мне не прощает ничего.

Нет имени у ней иль очень много,
Я их перебираю не спеша:
Психея, Муза, Роза-недотрога,
Поэзия иль попросту — душа.

1960. Черная Речка

* * *

Хамелеоны пестрых слов,
Коварство их и многоличье...
Спасай меня, косноязычье!
Дай рык звериный, горло птичье,
Заблудшего оленя рев!

Они правдивей во сто крат
И во сто крат красноречивей,
Когда поют с природой в лад,
Когда в бесхитростном порыве
О бытии своем вопят.

Будь как они! Завидуй им,
Они одни чисты, как пламя,
О чем не ведают и сами,
А мы лукавим, мы мудрим,
И между слов змеей скользим,
И ускользаем за словами.

* * *

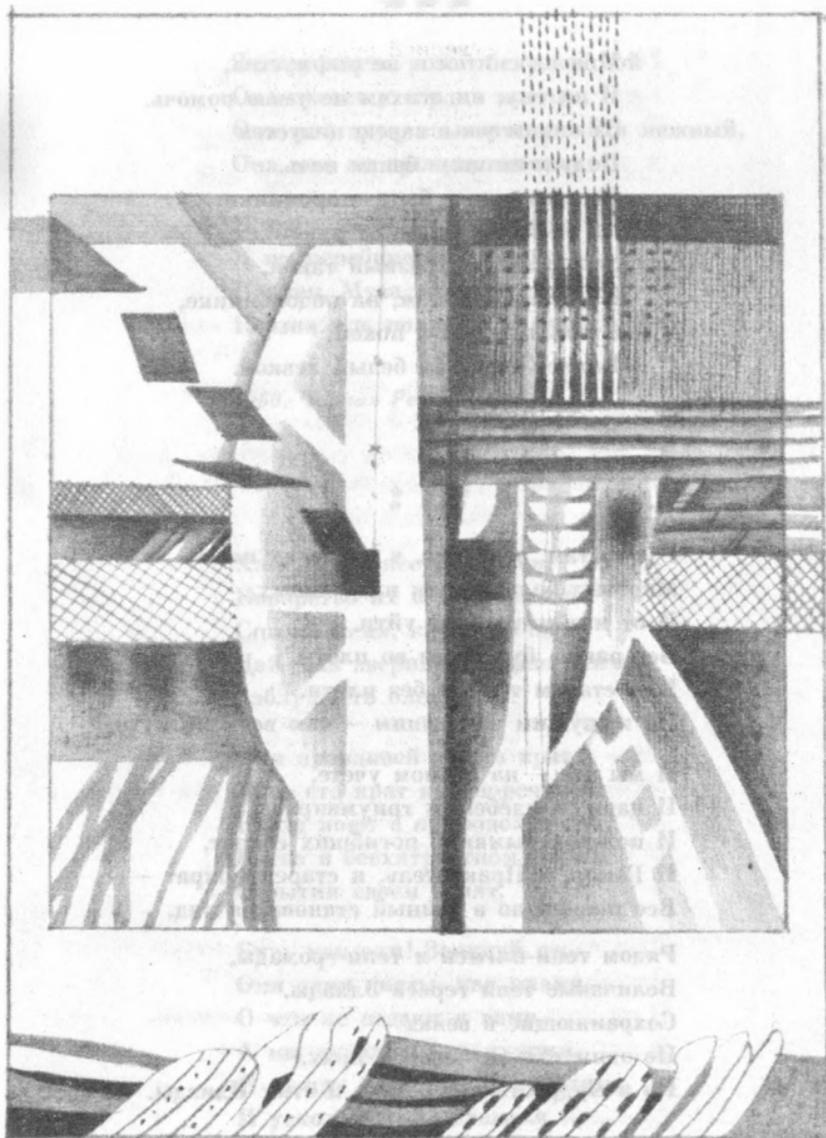
Мне не спится и не рифмуется,
И ни сну, ни стихам не умею помочь.
За окном уж с зарею целуется
Полуночица — белая ночь.
Все разумного быта сторонники
На меня уж махнули рукой
За режим несуразный такой,
Но в стакане, там, на подоконнике,
Отгоняя и сон и покой,
Пахнет счастьем белый левкой.

Лето 1961

* * *

Где-то там, вероятно, в пределах иных,
Мертвых больше, чем нас, живых,
И от них никуда не уйти.
Все равно, будем мы во плоти
Или станем теньями без плоти,
Но живущим и жившим — нам всем по пути,
И мы все — на едином учете,
И цари, и плебеи, и триумвират,
И полки безымянно погибших солдат,
И Гомер, и Пракситель, и старец Сократ —
Все посмертно в единый становятся ряд.
Рядом тени-пигмеи и тени-громады,
Величавые тени героев Эллады,
Сохраняющие в веках
Не один только пепел и прах,
Но и мудрость, и мрамор, и стих Илиады.

1961



* * *

С вьюгой северной обрученная,
Приднестровских не знала я стран,
Потому за могилу Назона я
Приняла этот скифский курган,
Эти маки степные, что, рдея,
В карауле стоят до сих пор,
Перед мертвыми благоговей,
О бессмертных ведя разговор.
И пока ястребиный дозор
Над курганом, кружа, пилотирует,
Слышу я нарастающий хор, —
То гекзаметры ветер скандирует,
Унося их с собой на простор.

1961

* * *

От суетных отвыкла дел,
А стоящих — не так уж много,
И, если присмотреться строго,
Есть и у стоящих предел.

Мне умники твердили с детства:
«Все видеть — значит все понять»,
Как будто зрение не средство,
Чтобы фантазию унять.

Но пощади мои утечи,
Преобразующие мир.
Кому мешают эти вехи
И вымыслов ориентир?

1961

* * *

От этих пальцев, в горстку сложенных
На успокоенной груди,
Не отрывай ты глаз встревоженных,
Дивись, безмолвствуя, гляди:
С каким смиреньем руку впадиной
Прикрыла грешная ладонь.
Ведь и ее обжег огонь,
Когда-то у богов украденный.

1961

* * *

Не двигаться, не шевелиться,
Так ближним меньше беспокойства.
Вот надобно к чему стремиться,
В чем видеть мудрость и геройство.

А, в общем, грустная история.
Жизнь — промах, говоря по-русски,
Когда она лишь категория
Обременительной нагрузки.

Май 1961

* * *

Меня уж нет. Меня забыли
И там, и тут, и там, и тут.
А на Гомеровой могиле
Степные маки вновь цветут.

Как факел сна, цветок Морфея
В пыли не вянет, не дрожит,
И словно кровью пламенея
Земные раны сторожит.

⟨Начало 60-х⟩

НЕОКОНЧЕННОЕ

Ты был уютен, цветок невзрачный,
Глазок анютин на клумбе дачной,
Ты где-то с детством был по соседству,
С лаптой, крокетом, с беспечным летом
.....
Давно отцвел ты, лилово-желтый

⟨сентябрь 1961⟩



СОДЕРЖАНИЕ

А. Чернов. Утасный подвиг Натальи Крандиевской	4
Начало жизни было — звук	21

ВЕНОК СОНЕТОВ

Ключ	23
Сумерки	36
Я шла пустыней выжженной и знойной	35
Шестнадцать лет прошло! Шестнадцать долгих лет	—
Здесь на земле, в долинах низких	—
Слова	37
Мое начало	—
Надеть бы шапку-невидимку	38
День в Воронцове	—
Когда архангела труба	40
Над дымным храпом рысака	—
Так суждено преданьем, чтобы	41
Никины песенки (<i>колыбельная</i>)	42
Проходят мимо неприявшие	43
Высокомерная молодость	—
Алексей — с гор вода	44
Вторая неделя поста	45

Звенел росой юный стих мой	46
Фаусту прикидывался пуделем	—
День прошел, да мало толку	47
Шатается по горенке	—
Рвануло грудь, и подхватило	48
Не окрылить крылом плеча мне правого	49
Мне воли не давай. Как дикую козу	—
Гаданье	51
Такое яблоко в саду	52
Яблоко, протянутое Еве	—
Таро — египетские карты	53
Босоногий мальчик смуглый	—
Цыганский романс	54
Не голубые голуби	55
Видно, надо собираться в путь дорогу дальнюю	—
Дорога в Мозлан (<i>роман в стихах</i>)	57
Мне снятся паруса	71
А я опять пишу о том	—
Небо называют — голубым	72
Больше не будет свидания	—
Ты спишь, а я гляжу, бессонная	73
Люби другую, с ней дели	74
Какая-то птичка вверху, на сосне...	—
Как песок между пальцев, уходит жизнь	75
Вспоминается ль тебе	—
Нет! Это было преступленьем	76
Слышу, как стукнет топор	—
Я не прячу прядь седую	77
Он тосковал по мне когда-то	—
Тень от облака бежит по лугу	78
Родится новый Геродот	79
Лифт, поднимаясь, гудит	—
Твоих очков забытое стекло	81
Мне снится твой голос над тихой рекой	82
Было все со мной не попросту	83

В старой Москве	84
Белой яхты движенья легки	85
Духов день	—
Затуманил осенний дождь	87
Дождь льет. Сампсоний-сеногной	88
Упадут перегородочки	89
Я твое не трону логово	90
Писем связка, стихи да сухие цветы	91

В ОСАДЕ

Недоброй славы на бегу	93
Отъезд	94
А писем нет. И мы уж перестали	—
А беженцы на самолетах	95
Привяжи к саням ведро	96
В кухне	98
Ночью на крыше	101
Ночное дежурство	102
Смерти злой бубенец	104
На стене объявление: «Срочно!»	—
С детства трусихой была	105
На улице	106
Майский жук прямо в книгу с разлета упал	111
Раны лечат только временем	—
Этот год нас омыл, как седьмая щелочь	112
Читая Диккенса	113
Новогодний тост	114
Если птица залетит в окно	115
Ты пишешь письма, ты зовешь	116
Весна 1943 года	117
Свидание наедине	—
Лето ленинградское в неволе	118
Случай на улице 6 августа 1943-го	—
Непредвиденный случай	119

А муза не шагает в ногу	120
В Гранатном переулке	123
Не будет этого, не будет	125
Давность ли тысячелетий	126
Памяти А. П. Толстого	—
На рассвете сон двойится	131
Клонятся травы ко сну (<i>стихотворение без эпитетов</i>)	132
Вот карточка. На ней мне — десять лет	—
Имя твое — как колокольчик	133
Он придет ко мне, самый страшный час	135
Отрывок (Из Эмерсона)	136
Три цыгана (Из Ленау)	—
Виноградный лист в моей тетради	137
Видно, было предназначено	139
На грани смешного, на грани чудачества	—
Эпитафия	140
Когда других я принимала за него	—
Веселый спектр солнца, буйство света	—
Дневник мой девичий. Записки	141
Разве так уж это важно	—
Яблоко, надкушенное Евой	143
Есть в судьбах наших равновесия закон	144
Вещи есть совсем обычные	—
Не дочитав, вслепую перелистывай	145
Было холодное лето	—
Ты усомнилась в реальности	—
Уходят с поля зренья	146
И вот опять бежмолвный челн	147
Будет все, как и раньше было	—
Так случилось под конец	148
Могила летчика	—
Черт лица твоего я не вижу	149
Я хотела бы узнать	151
Двойники	—
Стихи — соблазн. Стихи — дурман	152

Я поняла не так давно	153
Я с собой в дорогу дальнюю	—
Есть память глаз. Она воссоздает	154
Давно отмерена земного счастья доза	—
Позабуду я не скоро	155
Я во сне отца спросила	156
Что же такое мне снилось?	—
Любовь, и Вишера, и Клин	157
Perpetuum mobile	—
На смерть куртизанки	158
Поди попробуй придержи!	159
Здесь распластано тело мое	—
Все в этом мире приблизительно	161
Подражание древнегреческому	—
Стрела упала, не достигнув цели	162
Есть к стихам в голове привычка	—
Там, в двух шагах от сердца моего	163
Из бесформенной хляби доносится вдруг	—
Затворницею, розой белоснежной	164
Хамелеоны пестрых слов	—
Мне не спится и не рифмуется...	165
Где-то там, вероятно, в пределах иных	—
С вьюгой северной обрученная	167
От суетных отвыкла дел	—
От этих пальцев, в горстку сложенных	168
Не двигаться, не шевелиться	—
Меня уж нет. Меня забыли	—
Неоконченное	169

Крандиевская Н.

К 78 Грозный венок: Стихи и поэма/Вступ. ст.
А. Чернова. Рис. и оформл. М. Волковой. —
СПб: Лицей, 1992. — 176 с., ил.

ISBN 5—08—000134—8

Сборник стихов и поэма «потаянной музыки» XX века России —
Н. Крандиевской — поэтическая летопись собственной жизни, жизни
семьи, города и страны.

К $\frac{4803010102-21}{Д55(03)-92}$ 61—92

Р2

*Литературно-художественное издание
для старшего школьного возраста*

Крандиевская Наталья Васильевна

ГРОЗОВЫЙ ВЕНОК

Ответственный редактор
О. В. Давтян

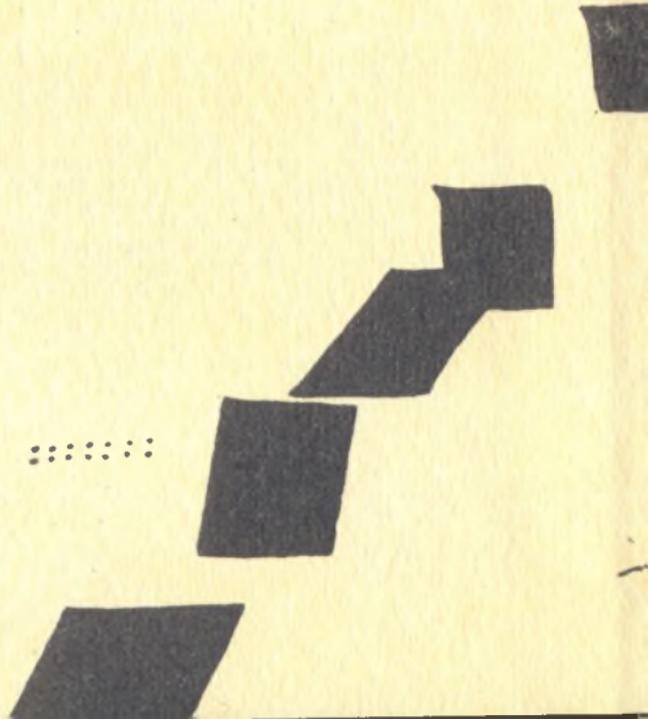
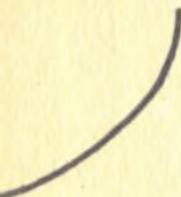
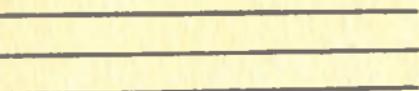
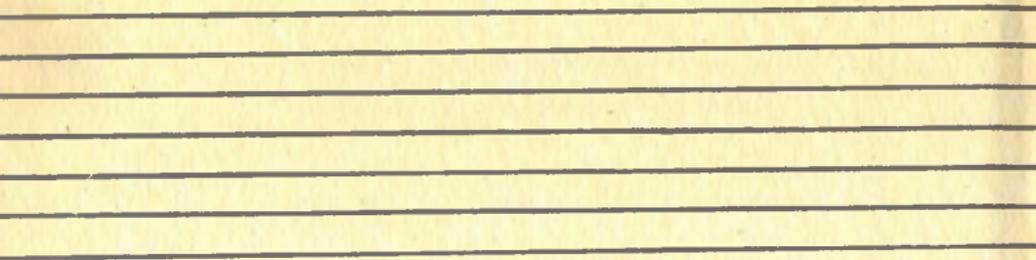
Художественный редактор
С. А. Григорьев

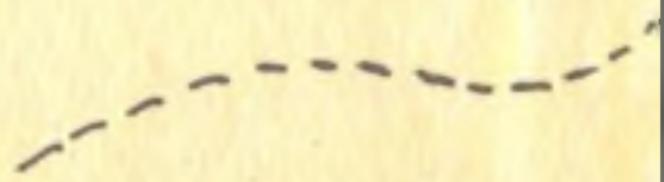
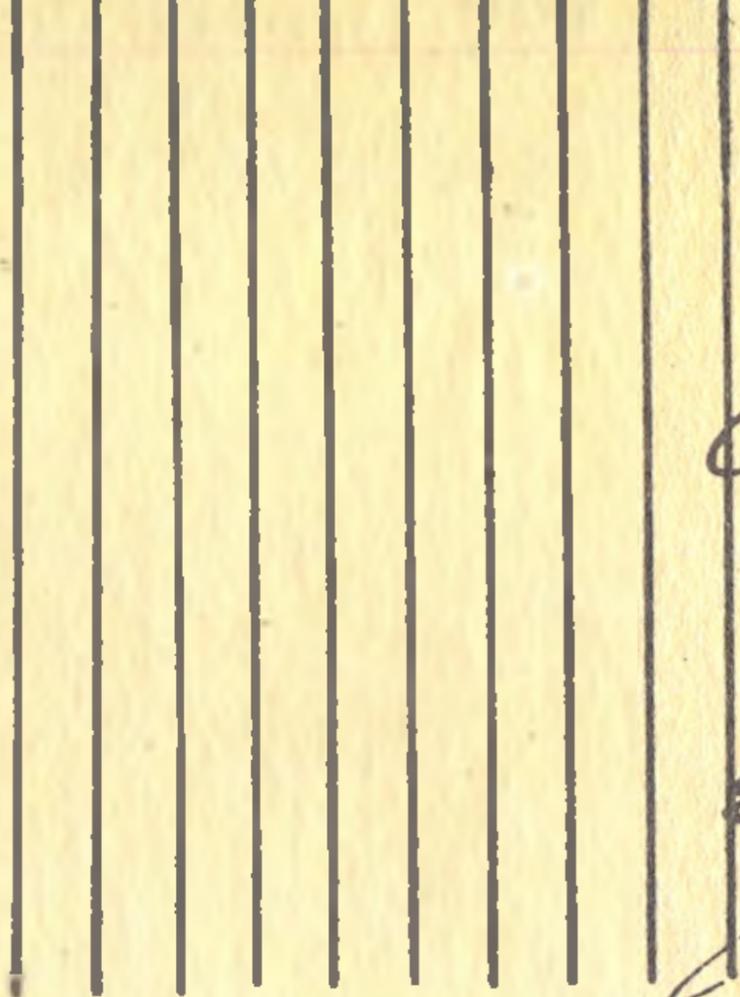
Технический редактор
Т. С. Харитоновна

Корректор
Л. А. Быстрова

ИБ 13477

Сдано в набор 02.08.91. Подписано к печати 30.01.92. Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Шрифт обыкновенный новый. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,15. Усл. кр.-отт. 16,26. Уч.-изд. л. 6,44. Тираж 50 000 экз. Заказ № 874. С 21. Республиканское издательство детской и юношеской литературы «Лицей» Министерства печати и информации РСФСР, 191187, Санкт-Петербург, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Министерства печати и информации РСФСР, 193036, Санкт-Петербург, 2-я Советская, 7.





РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЛИЦЕЙ»

Н. КРАНДИВСКАЯ. Прозовы-трины